



ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ (ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ս.Տ. ՉՈԼՅԱՆ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆ

Մաս II

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՍԵՄԱՆՏԻԿ ԵՎ ԴԻՍԿՈՒՐՍԱՅԻՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

(Մովսես Խորենացու «Պատմություն Հայոց»
և հայոց էպոսի օրինակով)

Երևան
ՀՌՀ հրատարակչություն
2024

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ**

С.Т. ЗОЛЯН

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ

Часть II

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

**(на примере «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци
и армянского эпоса)**

**Ереван
Издательство РАУ
2024**

УДК 316:94:32:1/14:008:81`22:80
ББК 60.5+63+66.0+87+71.05+80
И 904

Научный редактор

доктор исторических наук, профессор *Е.Г. Маргарян*

Рецензенты

член-корреспондент НАН РА, профессор *Л.А. Абрамян*

доктор исторических наук, проф. *И.Н. Данилевский*

Историческая память и национальная идентичность. Часть II.
Семантические и дискурсивные механизмы формирования
И 904 исторической памяти (на примере «Истории Армении» Мовсеса
Хоренаци и армянского эпоса). С.Т. Золян. – Ер.: Изд-во РАУ,
2024. – 128 с.

Исследование выполнено в рамках проекта № 21AG-6C041 «Когнитивные, коммуникативные и семиотические механизмы формирования исторической памяти и национальной идентичности: трансдисциплинарный анализ армянского эпоса, историографии, городского пространства и политического дискурса», осуществляемого при финансовой поддержке Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта в Российско-Армянском (Славянском) университете.

УДК 316:94:32:1/14:008:81`22:80
ББК 60.5+63+66.0+87+71.05+80

ISBN 978-9939-67-339-4

© Издательство РАУ, 2024

**СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ДИСКУРСИВНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ**

**(на примере «Истории Армении»
Мовсеса Хоренаци и армянского эпоса)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Семантика исторического дискурса и механизмы его конструирования

1.1. Модально-семиотические инструменты построения исторического дискурса	8
1.2. Зависит ли прошлое от будущего?	21
1.3. Заключая: почему изменяется прошлое	34

Глава II. Повторяется ли история? – Семантика и прагматика «одного и того же» исторического события

2.1. От мифа о вечном повторении – к «урокам истории»	39
2.2. Что может и что не может повторяться в истории?	42
2.3. Событие как концептуальная схема	47
2.4. Событие как фраза и событие как содержание	50
2.5. Событие как конструктор	55
2.6. Повторяемость как семиотическая репрезентация	58
2.7. Возвращаясь к Гегелю: повторяемость как не-случайность?	62

Глава III. Механизмы конструирования национальной истории и исторической памяти в «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци

3.1. «Нация есть наррация...»	74
3.2. Слагая прошлое: Мовсес Хоренаци и его «История»	81
3.2.1. «История» как «свидетельство о рождении»	81
3.2.2. Открывая нацию	87
3.2.3. Построение нарратива: Хоренаци о своих источниках	89
3.2.4. Метанарратив в нарративе	93
3.2.5. Заключая Историю	98

**Глава IV. Глубинно-семантическая структура эпоса
«Давид Сасунский»**

4.1. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и его современные осмысления	99
4.2. Глубинная семантика и смысловое единство эпоса	101
4.3. Глубинный сюжет эпоса: от чудесного рождения – к Апокалипсису	114

ГЛАВА I.

СЕМАНТИКА ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА И МЕХАНИЗМЫ ЕГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

1.1. Модально-семиотические инструменты построения исторического дискурса

*Все, что может быть описано,
может и случиться Витгенштейн,
Логико-философский трактат.
Я верую в пророчества пиштов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Его ж они прославили заране!*

Пушкин, «Борис Годунов».

В данном разделе мы попытаемся описать некоторые логико-семантические и семиотические механизмы формирования исторической памяти. Несмотря на огромное количество исследований, описывающих различные проявления исторической (коллективной, культурной) памяти, крайне мало внимания уделяется самой возможности ее формирования и ее соотнесенности с общими когнитивными механизмами памяти. Исключение составляют глубокие исследования Юрия Лотмана о семиотических характеристиках исторического дискурса, им же было отмечен креативный потенциал механизмов памяти культуры¹:

Механизмы памяти культуры обладают исключительной реконструирующей силой. Это приводит к парадоксальному положению: из памяти культуры можно извлечь больше, чем в нее внесено. Эта способность ретроспективно наращивать память говорит о

¹ Напомним, что, как было обосновано в [Ассман 2004], понятие культурная память может быть рассмотрено как более приемлемое для обозначения представлений о прошлом и исторических событиях.

принципиально ином ее устройстве, чем то, которым до сих пор наделяются искусственные интеллектуальные устройства [Лотман 2000, с. 568].

В подтверждение этому рассмотрим семантические условия, при которых становится возможным этот процесс. В частности, мы выделим некоторые семантические особенности исторического дискурса, вытекающие из его базовых модальных (темпоральных, деонтических и эпистемических) характеристик, основанных на первичных понятиях (возможность, необходимость, обязательность, нормативность и т.д.). Нарративы, ориентированные на описание событий прошлого, предполагают особую организацию дискурса и, соответственно, наличие специфических семантических механизмов, которые, в зависимости от исторического контекста, могут быть актуализованы для реализации различных политических и культурных целей. Историография и историческая память репрезентируют прошлое посредством различных семиотических инструментов: нарративов, символов, памятников, песен и т.д. Подобные формы репрезентации исключают возможность применения к ним семантических критериев оценки истинностного значения, основанных на корреспондентных процедурах его оценки²; требуются особые модальные и темпоральные операторы (*возможно, было, рассказывают* и т.д.) Например, формула:

*Высказывание «Снег белый» истинно,
если и только если снег белый.*

предполагает возможность непосредственной проверки. Если же это ситуация перенесена в прошлое «Снег был белым», то все процедуры истинностной оценки предполагают введение некоторых темпоральных операторов «*было так, что...*». При этом, в соответствии логикой времени Артура Прайора [1981], это предполагает, что мир в настоящем неког-

² Чтобы отразить гибридную природу исторического дискурса, был придуман гибридный термин «мифистория» (“*mythistory*”): «Результат лучше всего было бы назвать “*mythistory*”, поскольку те же самые слова, составляющие истину для одних, являются и всегда будут мифом для других, которые унаследовали и или восприняли иные предпосылки и организующие концепции о мире (McNeill 1986, 8–9).

да был тем самым миром, в котором некоторый момент времени снег был белым, и мир, в котором мы сейчас находимся, есть наследник именно того мира. В противном случае, помимо темпорального, понадобился бы некоторый иной оператор («мог быть», «мог не быть» и т. п.). Однако откуда возникает возможность путешествия во времени [Lewis 1986], и как удостовериться в том, что в некоторый момент, предшествующий данному, снег действительно был белым? Эту функцию повествователь, излагающий факты о прошлом, как бы перепоручает другому рассказчику – очевидцу, который действительно существовал в тот момент, воочию видел то, что снег в тот момент был белым, и – более того, оставил об этом достоверное свидетельство (разумеется, это относится также и к факту существования подобного очевидца – оно также должно подтверждаться определенными свидетельствами).

Нарративы и другие формы репрезентации истории и исторической памяти претендуют на то, что они основаны на исторических фактах и представляют историческую реальность такой, какой она есть/была. Однако в качестве таких фактов выступают тексты – как вербальные, так и материальные объекты, которым приписывается знаковая функция (археологические артефакты также интерпретируются как знаки, отсылающие к некоторому означаемому). Таким образом, описание прошлого отсылает к некоторому предыдущему нарратору или квази-автору (например, раскопки города или гробницы описываются как некоторое послание создавшего его социума).

Юрий Лотман объясняет взаимосвязь между историческими фактами и текстами следующим образом:

Историк обречен иметь дело с текстами. Между событием «как оно произошло» и историком стоит текст, и это коренным образом меняет научную ситуацию. Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан, событие предстает в нем в зашифрованном виде. Историк предстает, прежде всего, выступить в роли дешифровщика. Факт для него не исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии – событие [Лотман 1996, 304].

Разумеется, в этом случае возникает вопрос адекватности как первичного текста, так и его последующей интерпретации. Тем самым, возникает многоуровневая семантическая и прагмасемантическая модальная система, хотя и призванная создать иллюзию фактологического повествования. Однако это повествование детерминировано модальными операторами; темпоральные операторы времени комбинируются с деонтическими и эпистемическими. Субъективный компонент (условно: автор и интерпретатор) существенно влияет на описание исторического прошлого. Это постоянное взаимодействие между нарративами и их интерпретациями создает новую ситуацию. Переосмысление существующих нарративов в изменяющихся контекстуальных условиях приводит к созданию новых версий прошлого. Так, историк-повествователь (или коллективный «автор» нарратива) может быть включен в семантическую систему исторической памяти – как отдельная описывающая система, рассматривающая взаимодействие субъектов, описаний и установок.

Однако эта система локализована по сравнению с описываемыми событиями в настоящем, но претендует на то, что она опосредованно (через нарраторов-передатчиков) синхронизирована с самими событиями, что должно удостоверить аутентичность описываемого. Очевидна внутренняя противоречивость, из чего следует, что должны существовать некоторые дополнительные условия, создающие условия возможности самой исторической наррации. Рассматривая семиотические основы описания прошлого, можно выдвинуть парадоксальную формулу – описания того, что было, есть частный случай описания того, что могло быть. Обычно описание возможного обращено к будущему – как того, что может случиться. Но и применительно к прошлому мы исходим из существования альтернатив, что дает нам возможность выбрать одну из них как единственную.

В данном случае мы оставляем в стороне, что имел в виду Витгенштейн, говоря о возможности случиться всему тому, что может быть описано [подробнее см.: Zolyan 2022]. Одно из объяснений – связать его с таким фундаментальным свойством языка, которое позволяет описывать мир таким, каким он мог бы быть. Именно на это ориентированы приведенные в эпиграфе высказывания поэта Пушкина (точнее, Дмитрия Самозванца, высказанные – якобы – в присутствии боярина Гаврилы Пуш-

кина, предка Александра Пушкина), и философа-логика Людвиг Витгенштейна: то, что может быть описано посредством поэтического или формального языка, может и случиться. Однако основа этой возможности поэтического или же логического описания возможностей и, тем самым, предсказаний будущих состояний дел лежит в самом семантическом механизме языка; искусство и техника повествования – это развитие базовой семантической лингвистической компетенции, как ее определил Макс Крессуэлл:

Поскольку человек может представлять себе то, каков мир, он может представлять себе то, каким мир мог бы быть, но не является таковым. Таким образом, язык становится управляемым правилами устройством для вложения в сознание другого человека представления о том же множестве возможных миров, что и в сознании говорящего [Cresswell 1988: 29].

Описания прошлого также оказываются основанными на выборе из некоторого множества возможностей. Вспомним парадоксальную мысль Шлегеля «Историк – это пророк, обращенный в прошлое» [Шлегель 2003, с. 293]. Ее, хоть и не совсем точно (заменив Шлегеля Гегелем), но с убедительной силой повторил Борис Пастернак: «*Однажды Гегель ненароком И, вероятно, наугад Назвал историка пророком, Предсказывающим назад*». Тезис Витгенштейна и рассуждения Пушкина (приписанные им Григорию Отрепьеву) дополняют друг друга, поскольку предполагают различные принципы описания того, что может случиться. Однако представление возможностей (множество возможных миров) требует некоторых приемов текстуализации. Тезис Витгенштейна отсылает к модальной семантике, фундаментальному свойству языка, которое позволяет нам описывать мир таким, каким он мог бы быть. Но, при этом, Витгенштейн имел в виду логические описания, поэтому он оговаривал: «*То, что может быть описано, тоже может произойти, и то, что закон причинности призван исключить, даже не может быть описано*» [Витгенштейн 1958, 6. 362].

Тем не менее, помимо логики причинности, можно упомянуть логику текстуальности. В социальной коммуникации прагмасемантические механизмы используются для установления отношений между разнород-

ными мирами и связывания событий, происходящих в разных мирах – событий прошлого и будущего, миров мифов и легенд, хронологических записей. Попытки применить аппарат семантики возможных миров к художественному тексту предпринимались неоднократно – в основном в связи с проблемой *истинности в вымысле (truth in fiction)*, а также возможности референции к вымышленным объектам [см.: Lewis 1978; Searle 1975]. Между тем, эта логика модальности и текстуальности разрабатывалась в поэтике и риторике с древнейших времен. И здесь также были указаны особые характеристики, разграничивающие то, что может описано, и то, что описано неправильно (недолжным образом). Необходимо различать то, что древние греки считали различием между двумя типами дискурсов, т.е. между мифом и историей, то есть между описанием вымысла и тем, что происходило в реальности³. Первоначальное противопоставление истории и мифа – того, что было в действительности и того что было придумано – уступает место более глубокому разграничению – как различию в модусе повествования, Поэзия описывает не то, что произошло, а то, что могло бы произойти в силу вероятности и необходимости. Как видим, как и в логике, описания состояния дел ограничены определенными модальными отношениями межмировой достижимости (в терминах Аристотеля – в силу вероятности или необходимости). Именно так определяется различие между поэзией и историографией в «Поэтике» Аристотеля:

Из сказанного ясно и то, что задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости (το εἰκός ἢ τὸ ἀναγκαῖον) [51b1]. Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозой (ведь и Геродота можно переложить в

³ Что касается национальной истории, то разделительная линия между историей и мифом была оспорена ведущими конструктивистами; ср.: «В литературе, посвященной национализму, господствуют конструктивистские взгляды в духе Бенедикта Андерсона и Эрика Хобсбаума о том, что национальные историки были «мифотворцами» (“*p* excellence”). Представление о том, что нации являются «воображаемыми сообществами» (Андерсон), которые, в свою очередь, зависят от «выдуманных традиций» (Хобсбаум/Рейнджер), по сути, определяет национальных историков как главных действующих лиц в процессах «воображения» и «изобретения» (Lorenz 2008, 45).

стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), – нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой о том, что могло бы быть [b5]. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории – ибо поэзия больше говорит об общем (τά καθόλου), история – о единичном (τά καθ'ἑκάστων) [b8]. Общее есть то, что по необходимости или вероятности такому-то <характеру> подобает говорить или делать то-то; это и стремится <показать> поэзия, давая <героям вымышленные> имена [b10]. А единичное – это, например, что сделал или претерпел Алкивиад [Аристотель 1984, с. 655].

Приведенный фрагмент хорошо известен, но куда меньшее внимание привлекало его продолжение, где Аристотель предполагает, что сочинитель может сочинить даже то, что случилось в действительности:

[b27] Итак, отсюда ясно, что сочинитель должен быть сочинителем не столько метров, сколько сказаний: ведь сочинитель он постольку, поскольку подражает, а подражает он действиям [b29]. Впрочем, даже если ему придется сочинять <действительно> случившееся, он все же останется сочинителем – ведь ничто не мешает тому, чтобы иные из случившихся событий были таковы, каковы они могли бы случиться по вероятности и возможности; в этом отношении он и будет их сочинителем [Аристотель 1984, с. 655].

Как видим, согласно Аристотелю, различие между историей и художественным текстом основано на различии их модальных и семантических характеристик, и только таким образом коррелирует с описываемым содержанием. Единичные случайные события исторических дискурсов противопоставляются возможным (неслучайным) или даже необходимым событиям, как они должны быть описаны в поэтических произведениях. Но примечательно, что Аристотель сразу оговорил возможность совмещения истории и вымысла; это может появиться в *Трагедии*. Таким образом, различие между тем, что происходило, и тем, что могло произойти, переносится из актуального мира в возможные миры, созданные текстом как областью его интерпретации. Соответственно, общие семан-

тические процедуры, непосредственно соотносящие языковые выражения с неязыковыми объектами, в этом случае не могут быть применены, и возможны лишь различного рода интерпретативные операции.

Вышеприведенный тезис Витгенштейна может помочь понять эту парадоксальную мысль: если случившиеся события не случайны, то есть могут быть описаны (наперед?) как если бы они происходили в силу закона причинности (по Витгенштейну), или *по вероятности и возможности* (по Аристотелю), то *действительно случившееся* предстает как сочиненное. И, наоборот, при отсутствии или недостаточной каузальности *сочиненное*, хоть и не перестает быть нарративом (*сказанием*), выводится Аристотелем за рамки жанра. В пользу этого предположения свидетельствует то, что дальнейшие пояснения Аристотеля основаны не на эстетических, а на каузальных и модальных характеристиках (вероятность, случайность, необходимость). Именно на этих критериях основывается Аристотель, предлагая разграничивать *самые слабые и наилучшие сказания*:

Из простых сказаний и действий самые слабые – эпизодические. Эпизодическим сказанием я называю такое, в котором эпизоды следуют друг за другом без вероятия и без необходимости [b35]. Такие сказания складываются у дурных поэтов по собственной их вине, а у хороших – ради актеров: давая им <случай> к соревнованию и растягивая сказание сверх его возможностей, они часто бывают вынуждены исказить последовательность <событий> [52a1]. А так как <трагедия> есть подражание действию не только законченному, но и <внушающему> сострадание и страх, а это чаще всего бывает, когда <что-то> одно неожиданно оказывается следствием другого [a4] (в самом деле, здесь будет больше удивительного, чем <если что случится> нечаянно и само собой – ведь и среди нечаянных событий удивительнейшими кажутся те, которые случились как бы нарочно: например, как в Аргосе статуя Мития упала и убила виновника смерти этого Мития, когда тот смотрел на нее; такие события кажутся не случайными) – то и наилучшими сказаниями необходимо будут именно такие. [Аристотель 1984, сс. 656–657].

Как видим, у Аристотеля речь идет о некоторой повествовательной стратегии, предполагающей, что «хорошие» нарративы должны представлять последовательность событий не так, как если *эпизоды следуют друг за другом без вероятия и без необходимости*, а так, чтобы *нечаянные события случились как бы нарочно*. Не только самому событию, но и отношениям между событиями должно придать определенный смысл, и случайное предстает как закономерное. Эти стратегии, хорошо известные в поэтике и риторике, можно считать манифестацией каузальных логико-семантических отношений применительно к вербальному тексту, что позволяет найти общее между аристотелевским и витгейнштейновским пониманием связи между тем, что *может быть описано* и тем, что *может случиться*. Нахождение причин и создает осмысленность, при этом каузальность может пониматься по-разному и может носить мифологизированный характер (так, в следующем разделе мы продемонстрируем, что Мовсес Хоренаци связывает падение Армянского царства не с агрессивной политикой его соседей, Ирана и Византии, и не с политической недалководидностью армянских царей и князей, а с нарушениями ими христианских заповедей).

Подобная операция – внесение смысла – требует уяснения того, каким образом можно внести то («смысл»), что отсутствует в самом событии. Ограничимся указанием на наиболее важные характеристики. В современных терминах их можно обозначить как механизмы связности между эпизодами и целостности всего повествования, что предполагает наличие у текста единой смысловой рамки. Эта рамка задается такими семантическими координатами, как начало и конец повествования. Правила текстуализации, как можно понять из сказанного Аристотелем, создают определенную каузальную связь между описываемыми событиями. Более того – не может быть события «самого-по-себе», вне описывающей его знаковой репрезентации – будь то предложение, картина, фотография и т.п. Здесь вновь уместно вспомнить Шлегеля: историк в настоящем описывает событие из времени, будущего по отношению к событию, что позволяет ему внести то, что отсутствовало в самом событии – влияние этого события на последующие. В отличие от непосредственного наблюдателя, ему дана возможность знать, какие следствия данное событие оказало на дальнейший ход истории. Как было отмечено Артуром Данто,

Чтобы понимать историческое значений событий в тот момент, когда они происходят, необходимо знать, с какими более поздними событиями их свяжут историки будущего в своих нарративных предложениях. Так что недостаточно одной способности предсказывать события будущего, необходимо знать, какие будущие события окажутся относящимися к делу, для этого потребуются предсказать интересы историков будущего [Данто 2002, с.164].

Тем самым, к самому событию «привязываются» его последствия, что создает причинно-следственную связь (или видимость таковой). Перечисление событий (эпизодическое повествование, по Аристотелю) преобразуется в такое повествование, где случайное выступает как происшедшее *как бы нарочно*. Так, решение Кутузова оставить Москву наделяется связями с последующими событиями, *как бы следствиями* этого решения, и конечной ситуацией – разгромом Наполеона. Это событие с точки зрения предсказывающего назад историка надделено отражением последующих событий, почему и возможны такие высказывания, как, например: *На совете в Филях Кутузов предложил единственно верное решение*. Последовательность событий выступает как связный и целостный текст, обладающий единой смысловой структурой с маркированными началом и концом, и все промежуточные эпизоды подчинены главной функции – создать смысловую, а не только темпоральную связь между ними⁴. Начальные и конечные точки выступают как своего рода «Борхесовский Алеф» – это те точки, в которых присутствуют все остальные точки, лежащие между ними. Эта смысловая структура наделяет соответствующими контекстуальными смыслами любое промежуточное событие (бегство Наполеона, переправа через Березину и т.д.) – именно как способствующая или препятствующая переходу от начала к концу. Так,

⁴ Ср.: «Целое – то, что имеет начало, середину и конец. Начало есть то, что само, безусловно, не находится за другим, но за ним естественно находится или возникает что-нибудь другое. Конец, напротив, то, что по своей природе находится за другим или постоянно, или в большинстве случаев, а за ним нет ничего другого. Середина – то, что и само следует за другим и за ним другое. Поэтому хорошо составленные фабулы должны начинаться не откуда попало и не где попало кончаться, а согласоваться с выше указанными определениями понятий» (Аристотель 14а–2б).

последовательность событий преобразуется в текст, приобретая соответствующие текстуальные характеристики.

События преобразуются в предложения, последовательность предложений – в повествование. Определяющими оказываются такие критерии текстуальности, как единство, связность и целостность (“*coherence and cohesion*”). Необходимым оказывается семантическая цельность текста, что предполагает наличие некоторого смыслового каркаса, который должен объединить разрозненные фрагменты. Смыслы, которые отсутствуют в самих событиях, возникают при их описании – как результат соположения предложений в тексте⁵. История, как последовательность события, которая не имеет начала и конца, преобразуется в текст, а для текста его начало и конец имеют определяющее значение [ср.: Rigney 2013]. Эти параметры, во-первых, отделяют данное сообщение от корпуса других сообщений, а, во-вторых, определяют семантические координаты повествования. Все излагаемые в тексте события должны быть соотнесены с данными координатами. Это относится не только к темпоральной оси (все события должны располагаться в заданном этими точками интервале), но и к семантической структуре текста: все эпизоды должны тем или иным способом интерпретироваться относительно этих точек. Заметим, что, поскольку речь идет об истории, то есть о том, что имело место в прошлом, то модальный критерий уместен и в этом случае: случайное и сингулярное, так же, как и в поэтике, преобразуется в универсальное и необходимое. Это тем более подчеркивает системообразующую роль начала и конца: последовательность эпизодов разворачивается как некоторая каузально и семантически детерминированная траектория между ними, а промежуточные эпизоды интерпретируются как звенья, обеспечивающие связность между ними. Семантическая согласованность между начальным и конечным эпизодами (как если бы она была) порождает идеологическую метанарративную целостность [ср.: Лиотар 1984].

Как было процитировано выше, по Аристотелю, сочинитель может *сочинить* и то, что имело место – если опишет его как детерминирован-

⁵ Ср.: «Смысл мира должен лежать вне мира. В мире все так, как есть, и происходит так, как происходит. В ней нет никакой ценности, а если бы и была, то она не имела бы никакой ценности» (Витгенштейн 1958, 6.4.1).

ное. Но и историк в таком случае, помещая свое повествование о том, что имело место в некоторую каузальную цепочку, выступает не как описатель фактов, а как их создатель (сочинитель). Эти аспекты текстуализации событийного ряда были выявлены Юрием Лотманом (см. выше). При этом, создавая факт, историк не в состоянии отделить его от текста, ибо:

<...> факт – не концепт, не идея, он – текст, то есть имеет всегда реально-материальное воплощение, он есть событие, которому придано значение, а не значение, которому, как в притче, придан вид события. В результате, факт, выбранный отправителем, оказывается шире значения, которое ему приписывается в коде, и, следовательно, однозначный для отправителя, он для получателя (в том числе и для историка) подлежит интерпретации [Лотман 1996: 304].

Поэтому роль факта в истории оказывается семиотическим явлением, а его семантика может быть рассмотрена как контекстно-зависимая:

Тем самым факт «вынужден» разделить судьбу всех других типов текстов – он теряет свой абсолютный характер, поскольку он детерминирован не событием, а культурным кодом и оказывается не столько производным от события, сколько порождением культуры в целом. Поэтому воздействие факта на историю оказывается семиотическим или даже текстуальным, а не причинно-следственным, как это принято понимать в философии истории [Лотман 1996, с. 306].

Здесь можно уточнить, что причинно-следственные и текстуальные характеристики в историческом, как и в художественном дискурсе, выступают как взаимообуславливающие друг друга. Помимо них, существенно и внесение модальных характеристик: линейная последовательность событий: начало, середина и конец, по Аристотелю, трансформируется в зависимости от модуса наблюдения и, соответственно, описания:

Взгляд из прошлого в будущее, с одной стороны, и из будущего в прошлое, с другой, решительно меняют наблюдаемый объект. Глядя из прошлого в будущее, мы видим настоящее как набор рав-

новероятных возможностей. Когда мы глядим в прошлое, реальное для нас обретает статус факта, и мы склонны видеть в нем нечто единственно возможное. Нереализованные возможности превращаются для нас в такие, какие фатально не могли быть реализованы. Они приобретают эфемерность [Лютман 1992: 194–195].

Такая трансформация также придает истории дополнительную упорядоченность – случайную; одна из равновероятных возможностей осмысливается как необходимое, т.е. то, что не могло не случиться. Подобная трансформация требует своего текстуального и фактологического обоснования, что приводит к перегруппировке предшествующих событий – они также переосмысляются как предусловие, сделавшее неизбежным описываемое.

В целом, можно выделить следующие макро-характеристики исторических нарративов:

- Повествование управляется модальными операторами; темпоральные операторы времени совмещаются с деонтическими и эпистемическими.
- Семантическая система повествования может быть представлена как модальная структура. Такой подход может выявить, как участники воспринимают и оценивают ситуацию, которую они описывают. Этот субъективный компонент существенно влияет на описание исторического прошлого. Подобное постоянное взаимодействие между нарративами и их интерпретациями создает новую ситуацию. Переосмысление существующих нарративов в изменяющихся контекстуальных условиях приводит к созданию новых версий прошлого.
- Историк-повествователь (или коллективный «автор» нарратива) может быть включен в семантическую систему исторической памяти – как отдельная система наблюдения, описывающая взаимодействие субъектов, описаний и установок.

Механизм конструирования (мета-) нарратива армянской национальной истории («Истории Мовсеса Хоренаци») будет рассмотрен в третьей главе.

1.2. Зависит ли прошлое от будущего?

*«Философия истории есть не только познание
прошлого, но и познание будущего, она всегда
пытается открыть смысл, который
может быть явлен только в будущем»*
[Бердяев 1995: 259].

Хорошо известно то, что случившееся событие воспринимается в дальнейшем как нечто неизбежное, хотя сами участники этих событий на тот момент этого и не осознавали. С точки зрения будущего историка, большинство участников занимались бессмысленным делом – они пытались установить то состояние дел, которое, с точки зрения последующих поколений, не могло быть реализовано. Зато были и те, кто понимал ход истории и действовал в нужном направлении. Согласно фон Вригту, «осмысленность истории есть детерминизм *ex post facto* (после события)» [Вригт 1986: 189]. Этот «детерминизм» – представление случайного как необходимого – вытекает не из свойств самих событий, а из семантических особенностей высказываний о них, которые приводят к тому, что получило название «логического фатализма». Такие парадоксальные свойства подобных высказываний были описаны еще Аристотелем в его трактате «Об истолковании» (*Περὶ ἑρμηνείας*; Аристотель 1978: 99–101). Анализируя ставшее знаменитым высказывание «Завтра произойдет морское сражение», Аристотель рассматривает обе возможности: либо сражение произойдет, и тогда это высказывание истинно, или же не произойдет, и тогда высказывание ложно, а его отрицание – истинно. Таким образом, уже сегодня некоторое высказывание (либо о том, что завтра произойдет морское сражение, либо его отрицание) является истинным. Тем самым, это высказывание истинно до того, как произошло (или не произошло) само описываемое событие и, соответственно, становится выражением не случайной, а необходимой истины: если сегодня истинно, что завтра произойдет морское сражение, то не может быть, чтобы завтра не было морского сражения, иначе это высказывание не могло бы быть истинным. Аналогично для случая, когда это высказывание ложно, то невозможно, чтобы сражение произошло. Следовательно, в будущем нет

ничего случайного: любое событие (морское сражение или отсутствие морского сражения) оказывается необходимым, случайности нет места (добавим, что, как правило, мы не в состоянии отличить истинные высказывания о будущем от ложных, но это характеризует ограниченность человеческих способностей, а не есть свойство высказываний). Неудовлетворительность подобного подхода была очевидна и для Аристотеля: например, выходило, что та же самая «предуказанность» применима не только к завтрашним событиям, но и к отдаленному будущему. Предложенное Аристотелем решение таково: «Я имею в виду, например, что завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но это не значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно необходимо не произойдет; необходимо только то, что оно произойдет или не произойдет» [Аристотель 1978: 101]. Необходимость приписывалась Аристотелем не событию, а утверждению, что в истории может быть реализована только одна из альтернатив. Это, однако, вновь приводило к логическому фатализму: описывающее реализованную альтернативу высказывание должно быть истинно не только в момент события и после него, но и до самого события.

Интерпретации этого высказывания посвящено значительное число исследований, из которых наиболее важным представляется классическая работа Яна Лукасевича «О детерминизме». Позицию детерминизма, по Лукасевичу, можно выразить так: «Под детерминизмом я понимаю точку зрения, гласящую, что если A является b в момент t , то истинно в любой момент, предшествующий t , что A есть b в момент t [Лукасевич 1999: 183].

Анализ аристотелевского парадокса привел Я. Лукасевича к его фундаментальному открытию – многозначной логике, свободной от аксиомы *tertium non datur*. Высказывание «Завтра будет морское сражение» или же его отрицание могут быть ни истинными, ни ложными – поскольку возможно и то, и другое: «Этим высказываниям онтологически не соответствуют ни бытие, ни небытие, но лишь возможность. Безразличные высказывания, которым онтологически соответствует возможность, имеют третье логическое значение [Лукасевич 1999: 196]. Другое важное уточнение Я. Лукасевича, подрывающее основы логического фатализма, – то, что не следует рассматривать всю цепь причин и следствий, на-

чиная с сотворения мира, как неразрывную, иначе, как это изображено в знаменитой новелле Рэя Брэдбери «И грянул гром» (“A Sound of Thunder”), смерть бабочки в мезозойскую эпоху может спустя тысячелетия привести к установлению диктатуры. Лукасевич исходит из идеи о прерывности причинно-следственной цепи событий вплоть до ситуации их полного разрыва:

Действительно, не было бы свободы, если бы в каждый момент существовали бы причины всех событий, которые когда-либо произойдут. К счастью, принцип причинности не заставляет нас принимать это следствие. Это доказательство показывает, что могут существовать причинные цепи, которые еще не начались, а целиком лежат в будущем. Такая точка зрения представляется не только логически возможной, но и действительно кажется более умеренной, нежели высказывание, что даже каждое мельчайшее будущее событие имеет свою причину, действующую с сотворения мира. Я не сомневаюсь, по крайней мере, что некоторые будущие события имеют свои причины уже сегодня и имели их извечно. Небесные явления, затмения солнца или луны астрономы предвидят на много лет вперед с точностью до минуты и секунды, основываясь на наблюдениях и законах движения небесных тел. Но то, что такая-то и именно такая муха, которая сегодня еще вообще не существует, зажужжит мне над ухом в самый полдень 7 сентября будущего года, этого еще никто сегодня предвидеть не в силах, а высказывание о том, что это будущее поведение этой будущей мухи имеет уже сегодня свои причины и имело их извечно, кажется скорее фантазией, чем утверждением, имеющим хотя бы тень научного обоснования [Лукасевич 1999: 190–191].

Весьма близко к идеям Я. Лукасевича стоит осуществленная Ю.М. Лотманом экспликация восприятия истории в момент «исчерпания взрыва», понимаемая как «подмена информативности фатализмом»:

Происходит ретроспективная трансформация. Происшедшее объявляется единственно возможным – «основным, исторически предопределенным». То, что не произошло, осмысляется как

нечто невозможное. Случайному приписывается вес закономерного и неизбежного. В таком виде события переносятся в память историка. Он получает их уже трансформированными под влиянием первичного отбора памяти. Особенно же важно, что в его материале изолированы все случайности, взрыв трансформирован в закономерное линейное развитие. Из понятия «взрыв» исключается момент информативности – он подменяется фатализмом. Взгляд историка – это вторичный процесс ретроспективной трансформации. Историк смотрит на событие взглядом, направленным из настоящего в прошлое. Взгляд этот по самой своей природе трансформирует объект описания. Хаотическая для простого наблюдателя картина событий выходит из рук историка вторично организованной. Историк у себя исключает из неизбежности того что произошло [Лотман 1992: 33].

Подобная позиция историка парадоксальным образом отрицает время и, тем самым, историю, поскольку в таком случае нет никакой разницы между прошлым, настоящим и будущим:

Тот, кто принимает подобную точку зрения, не может по-разному трактовать будущее и прошлое. Поскольку все, что когда-нибудь осуществится и когда-нибудь будет истинным, сегодня уже истинно, было им извечно, то будущее точно так же осуществлено, как и прошлое. Только лишь еще не наступило [Лукашевич 1999: 183].

Ю.М. Лотман наделяет историка двойным видением события – чего, по Лукашевичу, лишен и детерминист, и индетерминист. Историк, по Лотману, одновременно, и детерминист, и индетерминист. Соответственно, индетерминистский подход к истории приводит к ее изменчивости. Сходства и некоторые различия между концепцией истории Я. Лукашевича и Ю.М. Лотмана рельефно проявляются в используемом ими обоими сравнении истории с кинофильмом (спектаклем). По Лукашевичу,

Детерминист рассматривает события, происходящие в мире, как повторную демонстрацию кинодрамы, отснятой где-то во всемирной киностудии. Мы находимся внутри представления, и, хо-

тя каждый из нас не только зритель, но и участник действия, тем не менее финал фильма нам не известен. Но этот финал есть, существует с начала представления, ибо весь фильм отснят бесконечно давно. В этом фильме заранее предусмотрены все наши роли, все наши приключения и жизненные коллизии, все наши решения и злые и добрые поступки, и предвидены моменты и твоей, и моей смерти. Во всемирной драме мы выступаем лишь в роли марионеток. Нам не остается ничего другого, как только созерцать зрелище и терпеливо ожидать конца [Лукаевич 1999: 183].

Иная позиция у индетерминиста:

Нам ничто не мешает принять, что не все будущее заранее предопределено. Если существуют причинные цепи, начинающиеся лишь в будущем, то только некоторые события, наиболее близкие к настоящему, какие-то завтрашние происшествия являются причинно-определенными настоящим моментом. Чем дальше в будущее, тем меньше событий даже всевидящий разум сумел бы предвидеть с позиции настоящего момента: предопределены какие-то, каждый раз более общие, рамки событий, а в рамках этих все больше места отводится возможности. Всемирная драма не является фильмом, снятым извечно; чем дальше от мест, как раз демонстрируемых, тем больше пробелов и пустых пятен появляется в фильме. И хорошо, что именно так. Ибо ничто нам не препятствует верить, что мы не только лишь пассивные зрители драмы, но и исполнители. Среди возможностей, ожидающих нас, мы можем выбрать лучшие возможности и избежать худших. Мы можем как-то сами изменять будущее мира согласно нашим намерениям. Как это возможно, я не знаю; верю только, что это возможно [Лукаевич 1999: 197].

Для Ю.М. Лотмана история – это спектакль, который историк смотрит второй раз:

Ретроспективный взгляд позволяет историку рассматривать прошедшее как бы с двух точек зрения: находясь в будущем по отношению к описываемому событию, он видит перед собой всю

цепь реально совершившихся действий, переносясь в прошлое умственным взглядом и глядя из прошлого в будущее, он уже знает результаты процесса. Однако эти результаты как бы еще не совершились и преподносятся читателю как предсказания. В ходе этого процесса случайность из истории полностью исчезает. Положение историка можно сравнить с театральным зрителем, который второй раз смотрит пьесу: с одной стороны, он знает, чем она кончится, и непредсказуемого в ее сюжете для него нет. Пьеса для него находится как бы в прошедшем времени, из которого он извлекает знание сюжета. Но, одновременно, как зритель, глядящий на сцену, он находится в настоящем времени и заново переживает чувство неизвестности, свое якобы «незнание» того, чем пьеса кончится. Эти взаимно связанные и взаимоисключающие переживания парадоксально сливаются в некое одновременное чувство [Лотман 1994: 430].

Подход Ю.М. Лотмана дополняет Я. Лукасевича в одном существенном отношении: зритель Лукасевича может лишь выбирать из данных ему возможностей, при этом никак не проясняется, на основании чего он способен оценивать одни возможности как лучшие, а другие – как худшие (видимо, это основано на некоторой способности предвидеть будущие события). Я. Лукасевич вообще не затрагивает вопрос об осмыслении событий, и тем более – об изменении их возможного осмысления. Между тем, как пишет Ю.М. Лотман, «случайный до реализации выбор становится детерминированным после. Ретроспективность усиливает детерминированность» [Лотман 1996: 325]. Тем самым Лотман допускает определенное (пусть хотя бы семантическое) воздействие настоящего на прошлое. Здесь возникает вопрос – насколько предсказуемым явится результат этого воздействия? И на помощь ученому приходит сравнение истории с кинофильмом. Лотман, полемизируя с Марком Блоком, использует парадоксальный образ: Сравнивая восстанавливаемое историком прошлое с кинофильмом, М. Блок использует метафору: «В фильме, который он (историк. – Ю.Л.) смотрит, целым остался только последний кадр. Чтобы восстановить стершиеся черты остальных кадров, следует сперва раскручивать пленку в направлении, обратном тому, в котором шла съем-

ка». Если пользоваться образом Марка Блока, то это – такой странный кинофильм, который, будучи запущен в обратном направлении, не приведет нас к исходному кадру. Здесь – корень разногласий. По Блоку, – и это естественное следствие ретроспективного взгляда – события прошлого историк должен рассматривать как единственно возможные [Лотман 1996: 319–320]. Далее Лотман никак не объясняет, каким образом запущенная в обратном направлении кинолента приведет нас не к «исходному», а к некоторому иному, «ставшему исходным» кадру. И откуда взялся этот «новый исходный» кадр? Можно ли понимать это сравнение как признание изменчивости прошлого, причем непредсказуемой изменчивости? Хотя Ю.М. Лотман и не ставит вопрос в такой радикальной форме, уйти от подобной постановки проблемы невозможно. Изменяемость прошлого – это не только возможность политического манипулирования историей вплоть до той радикальной формы, которая представлена в романе Джорджа Оруэлла «1984»⁶. Это и вытекающая из индетерминированности истории логико-семантическая особенность высказываний о прошлом. Оруэлл не выдумал, а лишь предельно эксплицировал те возможности политической манипуляции, которые обусловлены зависимостью образов будущего и прошлого от образа настоящего. Так, центральный лозунг Ингсоца (английского социализма) гласит: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, управляет прошлым». Власть над настоящим формирует тот образ прошлого и будущего, который соответствует сегодняшним политическим целям: “Nothing exists except an endless present in which the Party is always right” («Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия всегда права»). И такая зависимость – вовсе не выдумка, приписанная Оруэллом безымянным властителям Океании. По сути, также понимает

⁶ Ср. доведенное Оруэллом до предела представление об изменчивости истории: “The mutability of the past is the central tenet of Ingsoc. Past events, it is argued, have no objective existence, but survive only in written records and in human memories... It also follows that though the past is alterable, it never has been altered in any specific instance. For when it has been recreated in whatever shape is needed at the moment, then this new version is the past, and no different past can ever have existed. And if all others accepted the lie which the Party imposed – if all records told the same tale – then the lie passed into history and became truth. “Who controls the past”, ran the Party slogan, “controls the future: who controls the present controls the past”.” (Orwell 1976: 762).

соотнесенность между историей и настоящим и гуманист Карл Ясперс – история есть зеркало, в которой я узнаю себя⁷ (зеркало само по себе от меня независимо, но образ в зеркале есть уже мое отображение). Стоит лишь продолжить и обобщить подобный подход, как это сделал Карл Поппер, введя понятие «исторической интерпретации», под которой он понимает «сознательное введение точки зрения»⁸. Единой универсальной и «объективной» истории, то есть независимой от точки зрения историка, нет и не может быть:

На мой взгляд, единой истории человечества нет, а есть лишь бесконечное множество историй, связанных с разными аспектами человеческой жизни, и среди них – история политической власти. Ее обычно возводят в ранг мировой истории, но я утверждаю, что это оскорбительно для любой серьезной концепции развития человечества. Такой подход вряд ли лучше, чем трактовка истории воровства, грабежей или отравлений как истории человечества, поскольку история политической власти есть не что иное, как история международных преступлений и массовых убийств (включая, правда, некоторые попытки их пресечения). Такой истории обучают в школах и при этом превозносят как ее героев некоторых величайших преступников [Поппер 1992: 312].

Поэтому, по Попперу, лучше не обманывать других и себя «бесплодной идеей научной объективности», а честно и открыто соотнести прошлое с сегодняшними политическими целями. Правда, это должно быть

⁷ «Картина всемирной истории и осознание ситуации в настоящем определяют друг друга. Так же, как я вижу целостность прошлого, я познаю и настоящее. Чем более глубоких пластов я достигаю в прошлом, тем интенсивнее я участвую в ходе событий настоящего. К чему я принадлежу, во имя чего я живу – все это я узнаю в зеркале истории» (Ясперс 1991: 309).

⁸ Ср.: «Попытка проследить причинные цепочки, уводящие в далекое прошлое, ни к чему ни приводит, ибо каждое следствие, с которого мы начинаем, имеет великое множество различных причин; иначе говоря, начальных условий слишком много и в большинстве случаев они не очень интересны. Единственный способ, которым мы можем преодолеть эту трудность, состоит в том, чтобы сознательно ввести в историю точку зрения, то есть писать ту историю, которая нас интересует. Назовем такую селективную точку зрения или фокус исторического интереса, если она не может быть сформулирована в виде проверяемой гипотезы, Исторической Интерпретацией» (Поппер 1993: 172–173).

сделано не столь прямолинейно, как в оруэлловской Океании: это соотношение должно осуществиться не путем выдумывания несуществующего, а за счет сознательного привнесения в историю того смысла, который будет служить благородным идеалам⁹. Поскольку политические, пусть даже самые благородные цели изменчивы, то, по Попперу, каждое поколение будет воспринимать историю по-другому:

Ведь у каждого поколения есть свои трудности и проблемы, свои собственные интересы и свои взгляды на исторические события, и, следовательно, каждое поколение вправе воспринимать историю по-своему, интерпретировать ее со своей точки зрения, которая дополняет точку зрения предшествующих поколений. В конечном счете, мы изучаем историю для того, чтобы удовлетворять свои интересы и, по возможности, понять при этом свои собственные проблемы. Однако ни одной из этих двух целей мы не достигнем, если, находясь под влиянием бесплодной идеи научной объективности, не решимся представить исторические проблемы со своей точки зрения [Поппер 1992: 309].

Как видим, на место некой неизменной и «объективной» истории приходит постоянно дополняемое и изменяемое множественно историй, определяемых различными политическими интересами различных акторов. Сама история изменяется во времени – «каждое новое поколение» привносит новые версии истории». Тоталитарные властители Океании и поборник открытого общества сходятся в том, что история есть инструмент политической власти, и вопрос лишь в том, реализации каких – «хороших» или «плохих» – политических целей служит та или иная «историческая интерпретация». Но кто должен оценивать эти цели? Естествен-

⁹ «Я утверждаю, что история не имеет смысла. Из этого, конечно, не следует, что мы способны только с ужасом взирать на историю политической власти или что мы должны воспринимать ее как жестокую шутку. Ведь мы можем интерпретировать историю, исходя из тех проблем политической власти, которые мы пытаемся решить в наше время. Мы можем интерпретировать историю политической власти с точки зрения нашей борьбы за открытое общество, за власть разума, за справедливость, свободу, равенство и за предотвращение международных преступлений. Хотя история не имеет цели, мы можем навязать ей свои цели, и, хотя история не имеет смысла, мы можем придать ей смысл (Поппер 1992: 320–321).

но, некий орган, поощряющий «хороших» и наказывающий «плохих», как то было предусмотрено еще Платоном¹⁰ – кстати, главным объектом критики Поппера.

Однако признавать подобную изменчивость, субъективность, и даже возможную ненаучность исторических интерпретаций, вовсе не означает объявлять всякую интерпретацию произвольной. Как отмечает Вригт,

Свойственное историческому исследованию рассмотрение одного и того же прошлого каждый раз с новой точки зрения называется иногда «процессом переоценки прошлого». Но такая характеристика легко может ввести в заблуждение, так как делает суждение историка вопросом его вкусов и предпочтений, в соответствии с которыми он выбирает важное или «ценное». Разумеется, этот элемент присутствует в историографии. Однако, по существу, приписывание нового значения прошлым событиям является не вопросом субъективной «переоценки», а вопросом объяснения, справедливость которого, в принципе, допускает объективную проверку. Например, утверждение, что более раннее событие сделало возможным более позднее событие, может быть, и нельзя окончательно верифицировать или опровергнуть. Но это утверждение основано на фактах, а не на том, что думает историк об этих фактах [Вригт 1986: 184].

Нам представляется, что для Ю.М. Лотмана была бы ближе именно такая версия изменчивости истории, которая исходила бы не из политических целей, а из внутреннего смыслового потенциала соотнесенных между собой исторического прошлого и настоящего, многовекторности и многозначности устанавливаемых при подобном соотнесении причинно-следственных отношений и объясняющих моделей. Как следствие, уже отмеченной неизбежной при описании исторического процесса ретроспекции осмысление прошлого исходит из настоящего – вновь используя

¹⁰ «Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим, если же нет – отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь общепризнанные мифы. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить» (Государство., 377b–c).

метафору М. Блока, можно сказать, что кинолента прокручивается в обратном направлении. Как и предполагал Ю.М. Лотман, такой показ не приведет нас к начальному кадру. Остается лишь предположить, что сама лента изменилась к моменту просмотра, и, соответственно, изменился и начальный кадр. Ретроспективная взаимозависимость прошлого и настоящего приводит к возможному воздействию настоящего на прошлое. Артур Данто убедительно продемонстрировал невозможность осмысленного описания происшедших событий без знания событий, которые произойдут позже. Идеальный хронист, который был бы в состоянии наблюдать, а затем представить полное описание всех происшедших событий, тем не менее, не в состоянии написать историю, поскольку он не обладает знанием о том, что произошло потом. Поэтому: чтобы понимать историческое значение событий в тот момент, когда они происходят, необходимо знать, с какими более поздними событиями их свяжут историки будущего [Данто 2002: 164]. Идеальный хронист, лишен перспективного, следовательно, и ретроспективного видения происходящего события. И если само происшедшее в прошлом событие остается неизменным, то его описание подвержено постоянным изменениям, совокупность которых не может быть описан исчерпывающим образом:

В каком-то смысле можно говорить об изменении прошлого. Имеется ввиду, что событие в момент времени t_1 приобретает новые свойства не потому, что мы (или что бы то ни было) каузально воздействуем на него, и не потому, что оно продолжает происходить в момент времени t_1 , хотя t_1 завершился, но потому, что это событие вступает в различные отношения с событиями, которые произойдут позже. А это, по сути, означает, что описание события E – в момент времени – t_1 может становиться со временем разнообразней, хотя само событие не проявляет каких-либо изменений, и именно поэтому «полное описание» события E , происшедшего в момент времени t_1 , не может быть окончательным [Данто 2002: 151–152].

При этом, если некоторое более раннее событие является необходимым условием для более позднего события, то более позднее событие,

применительно к позднейшим описаниям, предстанет как достаточное условие для более раннего [см.: Данто 2002: 151]. Поэтому:

Достаточное условие для некоторого события E_1 может появиться по времени позже, чем само событие. Мы не можем уподобить понятие причины понятию необходимых и достаточных условий, если только мы не готовы принять, что следствия могут предшествовать причинам. Трудно предположить, что E_2 обуславливает появление E_1 . Но, по крайней мере, оно делает возможным такое описание события E_1 , которого не мог дать его очевидец и которое, соответственно, не могло бы появиться в «Идеальной хронике». Может существовать бесконечно много таких описаний, поскольку каждое достаточное условие для события E_i , появившееся позже E_i , предлагает новое описание этого события [Данто 2002: 151].

Как видим, хотя само по себе позднейшее событие E_2 не может обуславливать появление более раннего события E_1 , но оно делает возможным появление самого описания события E_1 , такого, которое не могли дать его очевидцы. Тем самым, расхожая в свое время шутка «Россия – страна с непредсказуемым прошлым» оказывается применимой к любой истории. Недетерминированность описаний прошлого есть обратная сторона индетерминированности будущего. (В противном случае, как мы уже отмечали, ссылаясь на Я. Лукасевича, не было бы разницы между прошлым, настоящим и будущим). Близкая идея, учитывающая точку зрения А. Данто, содержится и у Вригта:

Пересмотр отдаленного прошлого в свете более недавних событий в высшей степени характерен для научного исследования, именуемого историографией. Это объясняет, почему по концептуальным основаниям, невозможно полное или окончательное описание исторического прошлого. Причина не только в том, что могут выясниться еще неизвестные факты. Это верно, но довольно три-

виально. Нетривиальное основание заключается в том, что в процессе понимания и объяснения более недавних событий историк приписывает прошлым событиям такую роль и значение, которыми они не обладали до появления этих новых событий. А поскольку будущее нам неизвестно, то мы не можем сейчас знать все характеристики настоящего и прошлого [Вригт 1986: 184].

Поэтому, согласно Вригту, «полное понимание исторического прошлого предполагает, что будущего нет, что история окончена», и тот, кто претендует на такое понимание, должен, подобно Гегелю, рассматривать самого себя как «завершение мировой истории» [Вригт 1986: 184]. Идеальный хронист, будучи очевидцем, уже по этой причине не может быть историком, поскольку право на написание истории принадлежит будущим победителям (ср. знаменитый афоризм Оруэлла “History is written by the winners”). Бомбили ли нацисты Лондон или нет в 1944 году, когда Оруэлл писал свою статью и чему он должен был быть очевидцем? Ответ зависел от того, кто выйдет победителем из этой войны, чего, конечно, Оруэлл в тот момент знать не мог¹¹.

Однако наиболее убедительной представляется не Оруэловская политическая изменчивость прошлого, исходящая из сиюминутных требований настоящего, а каузальная изменчивость Лукасевича, уподобляющая прошлое будущему с его незавершенностью и потенциальностью:

Но и к прошлому мы должны относиться точно так же, как и к будущему. Если из будущего только лишь то сегодня действительно, что причинно предопределено в настоящий момент, а начинающиеся в будущем причинные цепи принадлежат сегодня сфере возможного, то и из прошлого реально сегодня лишь то, что еще сегодня действует в своих следствиях. События, которые в своих следствиях полностью исчерпались так, что даже всевидящий разум не мог бы их вывести из событий, происходящих сегодня, при-

¹¹ “For the purposes of a future historian, did those raids happen, or didn’t they? The answer is: If Hitler survives, they happened, and if he falls they didn’t happen” (Orwell 1986: 89).

надлежат сфере возможного. Нельзя о них утверждать, что они были, но лишь, что они были возможны. И хорошо, что именно так. В жизни каждого из нас случаются тяжелые минуты страданий и еще более тяжелые минуты вины. Мы хотели бы стереть эти минуты не только из нашей памяти, но и в действительности. Ничто не препятствует нам верить, что, когда исчерпают себя все следствия этих роковых минут, даже если бы это произошло лишь после нашей смерти, тогда и они сами будут вычеркнуты из материального мира и перейдут в сферу возможного. Время утешает печали и несет нам прощение [Лукаевич 1999: 198].

Естественно предположить, что, поскольку с течением времени будут исчерпаны все следствия некоторого события, то, тем самым, любое историческое событие в какой-либо момент вновь становится возможным – каким оно и было до того, как произошло.

1.3. Заключая: почему изменяется прошлое

Особенность исторического описания, согласно концепции Ю.М. Лотмана, это – его одновременно и проспективный, и ретроспективный характер, в результате чего непредсказуемые в момент его совершения события в историческом описании выступают как детерминированные. Лотман прав, говоря, что ретроспективный взгляд историка деформирует их и приводит к тому, что случайное и недетерминированное событие *post factum* осмысляется как неизбежное. Подобный взгляд, соответственно, приводит к детерминистским концепциям философии истории. Однако, как было показано в аналитической философии при анализе так называемого «логического фатализма», это есть свойство не самих событий, а высказываний о них. Но логико-семантические и лингво-семиотические характеристики исторического повествования этим не ограничиваются. Возможны различные версии взаимоотношений между темпоральными (настоящее, прошедшее, будущее) и модальными (необ-

ходимость, возможность, случайность, невозможность) характеристиками высказывания, что позволяет по-разному оценивать одно и то же событие (исчисление различных комбинаций этих модальностей дано в ряде работ) [см.: Прайор 1982; Вригт 1984; Смирнов 1984]. Ю.М. Лотман использует наблюдение Д.С. Лихачева [1967: 262] о восприятии прошлого как будущего:

Прошлое было где-то впереди, в начале событий, ряд которых не соотносился с воспринимающим его субъектом. «Задние» события были событиями настоящего или будущего. «Заднее» – это наследство, остающееся от умершего, это то «последнее», что связывало его с нами. «Передняя слава» – это слава отдаленного прошлого, «первых» времен, «задняя же слава» – это слава последних деяний [Лотман 1996: 333].

Подобное осмысление, которое Лотман связывает с мифологическим циклическим восприятием времени, характерно не только для древнерусской культуры, но имеет универсальный характер:

Действие обретает смысл, реальность исключительно в той мере, в какой они возобновляют некое прадействие для большей части человечества, сохранявшей еще традиционную точку зрения, история не имела и не могла иметь собственной ценности. Каждый новый герой повторял архетипическое действие, каждая война возобновляла борьбу между злом и добром, каждая новая социальная несправедливость отождествлялась со страданиями Спасителя (или, в дохристианском мире, со страстями божественного Посланца или бога растительности и т.д.); каждая новая бойня повторяла смерть мучеников [Элиаде 1987: 133, 135].

Однако подобное соотношение между временами – восприятие прошлого как будущего, будущего как прошлого – характерно не только для циклического, но может иметь место и при линейном восприятии вре-

мени [ср.: Золян 2012]. Но это повторение в таком случае может оказаться не воспроизведением прототипической ситуации, а воссозданием «нового прошлого». Повторяемым оказываются не ситуации, а отношение повторяемости или даже какой-либо иной соотнесенности при возможном изменении самих ситуаций¹².

Как мы могли убедиться, вследствие фундаментальных особенностей нет и не может быть завершенного исторического описания. Более того – нет и не может быть и некоторого конечного, исчерпывающего и завершенного списка этих историй [ср.: Burtow 2009], при этом ни одна из входящих в этот список историй также не может считаться завершенной, исчерпанной и конечной. Незавершенность истории предопределяет незавершенность любого исторического описания, и наоборот, (вспомним, что история не описывает факты, а (вос-) создает факты из текстов). Как правило, подобную ситуацию связывают с недетерминированностью будущего. Принимая подобную точку зрения, считаем нужным продолжить: незавершенность и недетерминированность исторического описания определяются прежде всего незавершенностью и недетерминированностью настоящего, возникающих в его проекции в будущее [ср.: Федоров 2023]. Конечно, соотношение между семантическими образами прошлого, настоящего и будущего может принимать самые разнообразные формы, но, в целом, их можно описать словами Бенедетто Кроче,

¹² Так, линейному или же циклическому образам времени Манделъштам противопоставляет образ истории как веера («Таким образом связанные между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время они поддаются уопостижаемому свертыванию. Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только их внутреннюю связь, и вместо проблемы причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени и надолго поработившей умы европейских логиков, выдвигает проблему связи, лишенную всякого привкуса метафизики и, именно потому, более плодотворную для научных открытий и гипотез» («О природе слова»; Манделъштам 1990: 173) или камня («Камень – импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий; но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность» («Разговор о Данте»; Манделъштам 1990: 250). Подобные метафоры исходят из парадоксального синхронного видения времени: «Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени – сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его. Соединив несоединимое, Данте изменил структуру времени, а может быть, и наоборот – вынужден был пойти на глоссолалию фактов, на синхронизм разорванных веками событий».

«вся история есть современная история» (вспомним и Я. Лукасевича: события, которые не имеют следствий в настоящем, из актуальных, имевших место, становятся возможными). В самом деле, настоящее – это не только некая временная точка, это – некоторый смысловой фрейм, содержащий образ прошлого и будущего, или, используя образ Мандельштама, «веер, створки которого можно развернуть» и которые, в то же время, «*поддаются умопостигаемому свертыванию*» [Мандельштам 1990: 234, 251].

Хотя это – единый фрейм, в нем можно выделить различные сегменты, из которых проекция настоящего на прошлое и описание этого прошлого предстает как историческая память и история, а проекция настоящего на будущее и описание этого будущего – как политика. Применительно к некоторой описываемой ситуации настоящее – это время, включающее не только актуализируемое прошлое, но и одновременно сосуществующие проекты будущего, то есть это не столько текущий момент, реализованный в физическом пространстве, сколько виртуальное политическое пространство логико-временных возможностей в смысле современной модальной логики. Между тем, настоящее многосубъектно. В настоящем взаимодействуют различные акторы, преследующие различные цели и, в соответствии с этим, создающие различные образы будущего. Подобным же образом они ревитализируют или создают различные образы прошлого. В случае конфликта между этими акторами, в том настоящем, в котором еще не ясно, кто окажется победителем, могут конкурировать различные образы истории [подробнее см.: Золян 1994]. Борьба за будущее оборачивается борьбой за прошлое и созданием новых историй, что может привести к так называемым «войнам памяти». А забвение и примирение можно понимать, как исчерпание следствий прошедших событий, что подразумевает актуализацию новых условий, в которых нет места переставшим существовать событиям [ср.: Рикёр 2004]. Подобно знаменитой апории об Ахиллесе, который никогда не догонит черепаху, будущее никогда не наступит – то событие, которое планируется и предсказывается, в некий момент станет настоящим со своим будущим. Реализация некоторого события не отменяет того, что оно может быть оценено только как случившееся или неслучившееся, иначе оно – не собы-

тие, а лишь возможность события. Тем самым множественность вариантов будущего оказывается принципиально неустранимой, что, в свою очередь, предопределяет множественность образов прошлого [Koselleck 1985]. Множественность и непредсказуемость прошлого, так же, как и будущего, особенно явно проявляется в момент взрыва. Так, распад СССР дал начало не только новым национальным государствам, но и новым историям. Подобно политическому распаду, в соответствии с административными границами бывших республик, распалась и единая до этого история СССР, которая, в свою очередь, сама была сформирована ситуацией взрыва 1917г.¹³ Безусловно, создание новых историй сопровождается и отказом от прежних – как иронично констатирует Эрнст Геллнер, в таком случае «народная традиция должна была получить не дар памяти, а дар забвения. На Востоке вспоминают то, чего не было, на Западе забывают то, что было» [Геллнер 1992: 55]. Зависимость исторического описания от событий настоящего и планируемых в будущем приводит к постоянной и бесконечной изменчивости осмыслений истории и, следовательно, исторических описаний. Недетерминированность будущего, а также многогранность и многоакторность настоящего приводят к тому, что описания (осмысления, интерпретации) прошлого также становятся непредсказуемыми.

¹³ Неизбежность появления новых историй и их несводимость к единому нарративу может привести к так называемому мультиперспективному взгляду на историю – как на множество описаний, осуществленных с различных точек зрения. Интересная реализация такого подхода дана в: Crossroads 2005. С другой стороны, показали свою несостоятельность попытки конструирования некоторой общей истории, исходящие из того, что создание некоторого общего нарратива о прошлом сможет разрешить конфликты в настоящем – например, общей франко-германский учебник, или истории Южного Кавказа, общебалканский и т.д.

ГЛАВА II

ПОВТОРЯЕТСЯ ЛИ ИСТОРИЯ? – СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА «ОДНОГО И ТОГО ЖЕ» ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ

2.1. От мифа о вечном повторении – к «урокам истории»

Древний миф о вечном повторении оказал огромное влияние на философию и литературу. Он до сих пор сохраняет актуальность в процессах понимания происходящих событий. Повторяемость (рекуррентность) в истории является одной из важнейших проблем философии; это же понятие также используется и как практический инструмент при принятии политических решений. Однако недостаточно ясно, в каком смысле можно использовать и понимать утверждения, упрочивающие идентичность или повторяемость «одних и тех же исторических событий».

Оставляя в стороне всевозможные теории рекуррентности от Гераклита до Ницше, попробуем понять, в каком смысле политики, философы и историки обсуждали повторяемость исторических событий. Наша цель состоит не в том, чтобы дать новое понимание повторяемости, а в том, чтобы проанализировать те характеристики, которые делают возможными и значимыми определенные утверждения о ней. Это позволяет выявить те неявные дополнительные семантические комплексы, которые ассоциируются с такими высказываниями, как «Всегда ли история повторяется?».

Этот вопрос не может рассматриваться как сфера интересов исключительно поэтов, историков и философов. Но почему этот вопрос важен для общественного сознания и современного мифотворчества? Следующий случай является показательным и дает наиболее приемлемые объяснения. После Второй мировой войны газета «Нью-Йорк таймс» (21 сентября 1947 г.) предложила сделать этот вопрос одним из самых актуаль-

ных для всего мира, потому что в случае положительного ответа газета видела некоторую надежду для человечества.

Газета оптимистично уведомила об этом своих читателей в заголовке: «Повторяется ли история? Профессор Тойнби, исследуя взлеты и падения цивилизаций, находит надежду для нашей».

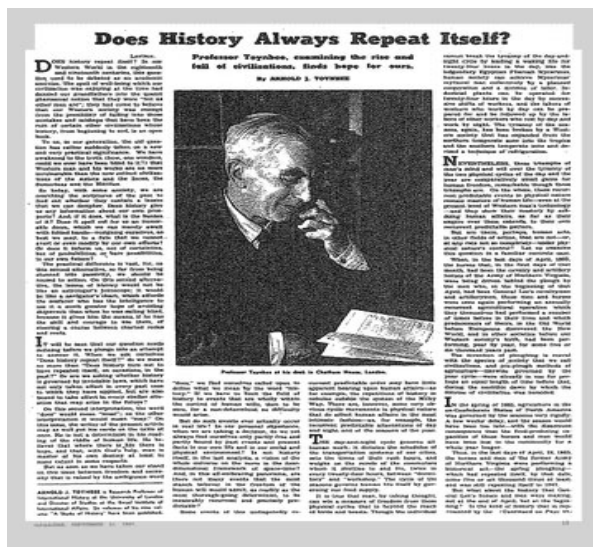


Рисунок 1. Источник: <https://www.nytimes.com/1947/09/21/archives/does-history-always-repeat-itself-professor-toynbee-examining-the.html>

О чем размышлял выдающийся историк и философ истории? И какую благую весть вынесла газета из его размышлений? По мнению Тойнби, в XX веке этот вопрос из академической превратился в вопрос существования и выживания.

Повторяется ли история? В XVIII и XIX веках этот вопрос у нас, на Западе, обычно дебатировался в качестве академического упражнения... Для нашего же поколения старый вопрос приобрел неожиданно новое и весьма практическое звучание. У нас открылись глаза на истину (подумать только, как это мы вообще были слепы в этом вопросе!), что человек Запада и все его труды ничуть не менее уязвимы, нежели в угасших цивилизациях ацтеков или инков, шумеров или хеттов [Тоунбей 1948, 29].

Тойнби указал на практическую важность ответа на этот вопрос – это способность предвидеть будущее и тем самым избегать грядущих угроз и опасностей:

Урок истории больше похож не на гороскоп астролога, а на навигационную карту, которая дает мореходу, умеющему ею пользоваться, больше возможности избежать кораблекрушения, чем если бы он плыл вслепую, ибо дает ему средство, употребив свое умение и мужество, проложить курс между указанными на карте скалами и рифами [Тоунбее 1948, 30]

Хотя Тойнби проводил существенное различие между научным знанием и мифологическими пророчествами (ср.: *гороскоп* и *навигационная карта*), его центральный тезис вряд ли можно считать методологически очевидным и обоснованным. Карл Поппер подверг резкой критике подход Тойнби к повторению истории, назвав его ненаучным. Примечательно, однако, что Поппер, скорее, спорит с идеей о возможности извлечения смысла («уроков») из истории, при этом он не отрицает самой мифологической возможности частичного повторения событий.

Не стану отрицать, что история может иногда и чем-то повторяться, а параллели между историческими событиями – такими, как возникновение тирании в Древней Греции и в наше время, могут оказаться важными для исследователя социологии политической жизни. Все эти случаи повторения связаны с обстоятельствами, которые весьма отличаются друг от друга и способны оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий. Поэтому нет серьезных причин ожидать, чтобы какое-то явное повторение продолжалось параллельно своему прототипу [Поппер 1993: 126–127].

Мы вернемся к обсуждению этого спора позже, а перед этим мы хотели бы оговорить, что утверждение о том, что *история повторяется*, ведет к новой мифологии в научной оболочке, которая, говоря языком газеты, *находит надежду для нашей цивилизации*. При этом ключевой вопрос о том, что именно должно повториться в истории, не обсуждается.

Из жестких методологических позиций Поппера очевидно, что каждое событие уникально и по ряду причин не может быть воспроизведено, а любые случаи повторения невозможны. Более того, согласно Витгенштейну, с логической точки зрения нет уверенности в том, можно ли предсказать будущие события, основываясь на нашем прошлом опыте:

События будущего не могут выводиться из событий настоящего. Вера в причинную связь есть предрассудок [Витгенштейн 1958, 5.1361].

Таким образом, можно предположить, что может быть и другой небуквальный смысл, связанный с утверждениями о повторениях истории. Некоторые семантические и прагматические аспекты этих небуквальных коннотаций являются основным предметом нашего рассмотрения с целью выявления:

- 1) каковы причины трактовки двух разных событий как «одного и того же»;
- 2) каковы коммуникативные и прагматические характеристики такой интерпретации.

2.2. Что может и что не может повторяться в истории?

На первый взгляд, ответ на вопрос о том, что может повториться в истории, очевиден. Кажется, что это – определенное положение дел, ситуация, событие, то есть то, что составляет историю. Простейший лозунг «Сделаем Америку *снова* великой» предполагает, что некогда в прошлом Америка была великой и это может повториться в будущем. Напротив, лозунг «*NEVER AGAIN*» предполагает, что может произойти некоторая недопустимая ситуация, и ее нужно предотвратить.

Но, конечно, здесь возникает вопрос – какие сущности могут повторяться? Что это? Повторение какого-то положения дел, оценка (или интерпретация) этого положения вещей или некоторый нарратив, содержащий интерпретацию данного положения дел и его оценку? Предположим,

что мы принимаем простейшее понимание истории – как некоторой последовательности событий, связанных во времени согласно причинно-следственным связям. В этом случае любая дискуссия, связанная с повторением событий, может рассматриваться как пример логической ошибки.

Так, согласно логико-семантической экспликации, восходящей к Берtrandу Расселу («Логический атомизм»), каждое событие является уникальным объектом, характеризующимся уникальными пространственно-временными координатами и не может быть воспроизведено – по крайней мере, его временные характеристики:

The world consists of a number, perhaps finite, perhaps infinite, of entities that have various relations to each other and perhaps also multiple qualities. Each of these entities may be called an “event”; from the point of view of old-fashioned physics, an event occupies a short finite time and a small finite amount of space, but as we are not going to have an old-fashioned space and an old-fashioned time, this statement cannot be taken at its face value [Russell 2010, 148]¹⁴.

Однако даже при таком уточнении проблема того, что считать событием, все равно не очевидна, так как каждое событие не может рассматриваться изолированно и делится на бесчисленное множество составляющих. Неслучайно, Рассел оговаривает, что его определение относится к *старомодной физике*. Рассел вводит дополнительные понятия, переходя от физических событий к их отражению в человеческом сознании:

Every event has to a certain number of others a relation which may be called; from the point of view of physics, a collection of compresent events all occupy one small region in space-time. One example of a set of compresent events is what would be called the contents of one man's

¹⁴ Мир состоит из некоторого числа, возможно, конечного, возможно – бесконечного, сущностей, которые имеют различные отношения друг к другу и, быть может, из различных качеств. Каждая из этих сущностей может быть названа «событием». С точки зрения устаревшей физики, событие происходит в короткое конечное время и занимает небольшую конечную часть пространства, но поскольку мы не собираемся иметь дело с прежним пространством и временем, это утверждение не может пониматься буквально» (пер. Г.И. Рузавина, приводим по: Грязнов 1993).

mind at one time – i.e., all his sensations, images, memories, thoughts, etc., which can coexist temporally [Russell 2010, 148]¹⁵.

Несколько иной подход к логическому атомизму был предложен Людвигом Витгенштейном, который, однако, в своем «Трактате» предпочел обратиться не к событиям, а к атомарным фактам и возможности их идентификации. Атомарный факт определялся как некая процедура его построения:

2.031. В атомарном факте объекты сочетаются определенным образом. In the atomic fact the objects are combined in a definite way.

4.0311. Одно имя представляет один предмет, другое имя – другой предмет, и они связаны друг с другом. И целое – как живой образ – изображает атомарный факт.

4.1 Предложение (a proposition) изображает существование и несуществование атомарных фактов.

Атомарность обеспечивается тем, что между объектами устанавливается только одна связь. Однако возникает другая проблема, о которой Рассел упоминает в своем предисловии к «Трактату»: одно отношение может связывать бесконечное число объектов. Например, можно задать вопрос: является ли город Рим единым объектом или это название для множества объектов, которые расположены на некоторой территории, определяемой как город Рим? В некоторых ситуациях первое толкование («Рим – столица Италии») будет правильным; в других – второй («Экскурсанты обозревают Рим») (пример наш). Рассел пытается обойти этот вопрос – объекты, составляющие некоторый факт, могут быть бесконечными. При этом, слегка перефразируя, Рассел ссылается на тезис Витгенштейна [4.2211]:

¹⁵ «Каждое событие имеет отношение к определенному числу других, которые могут быть названы “сжатыми”. С точки зрения физики, вся совокупность сжатых событий занимает небольшую область пространства-времени. Одним из примеров множества “сжатых” событий может служить то, что будет называться “содержанием сознания” некоторого человека в определенное время, т.е. все его ощущения, образы, воспоминания, мысли и т.п., которые могут существовать в одно время» (пер. Г.И. Рузавина, приводим по: Грязнов 1993).

Необязательно предполагается, что комплексность фактов конечна; даже если бы каждый факт состоял из бесконечного числа атомарных фактов и если бы каждый атомарный факт состоял из бесконечного числа объектов, все равно существовали бы объекты и атомарные факты [Russell 1922, 11].

Однако вопрос не только в том, что объектов может быть бесконечное множество. Гораздо важнее делимость объектов – это может подорвать саму концепцию атомарного факта. Факт оказывается зависимым от способа его построения (описания), и предполагает обращение к неоднозначному и не до конца проясненному понятию, охарактеризованному Расселом как *совокупность сопутствующих событий*. Не вдаваясь в прослеживание этих идей после Рассела и Витгенштейна, отметим, что этот, казалось бы, теоретический вопрос – можно ли говорить об атомарных фактах или о совместном представлении событий – получил неожиданное практическое воплощение. И цена этого вопроса была 3.5 миллиардов долларов. Эту ситуацию описал Гарольд Пинкер:

Это была сумма, которая была предметом спора в серии судебных разбирательств, определяющих страховую выплату Ларри Сильверстайну, арендатору участка Всемирного торгового центра. У Сильверстайна были страховые полисы, которые предусматривали максимальное возмещение за каждое разрушительное «событие». Если бы события 11 сентября состояли из одного события, он получил бы три с половиной миллиарда долларов. Если бы он состоял из двух событий, он получил бы семь миллиардов. В ходе судебных разбирательств адвокаты оспаривали применимое значение термина «событие». Юристы арендатора определили это в физических терминах (“two collapses” – два обрушения.); юристы страховых компаний определяли его в ментальных терминах (“one plot” – один заговор) [Pinker 2008, 12–13].

Пинкер справедливо замечает: *«Язык мысли позволяет нам формулировать ситуацию различными и несовместимыми способами [Pinker 2008, 14].* Эту идею можно развить: любое событие/факт зависит не

столько от физических или логических характеристик, сколько от семиотических и когнитивных процессов его обрамления и рефрейминга. Концепт 9/11 не является изолированным событием и не ограничивается разрушением двух башен, а включает в себя ряд предшествующих, сопутствующих и последующих обстоятельств. Если бы на вопрос «*Что произошло 11 сентября?*» кто-либо ответил бы – «*Были разрушены две башни небоскреба*», то этот ответ был бы признан неполным и недостаточным.

Таким образом, возникает новый вопрос – «порождено ли такое событие названием 9/11?». То, что мы называем «событием 9/11» не связано с каким-либо конкретным фактом, но есть определенное множество событий, объединенных этим названием. Таков подход Алена Бадью, который ввел различие между фактом и событием [Badiou 2005]. Развивая этот подход, событие, в отличие от фактов, можно рассматривать как некую семиотическую сущность, которая вводится, а затем порождается именем:

Что именно мы имеем в виду, когда говорим, что «май 68-го» был событием? Этим выражением мы не просто обозначаем совокупность фактов, которыми отмечена эта коллективная последовательность (студенческие демонстрации, оккупация Сорбонны, массовые забастовки и т.д.). Такие факты, даже если они соединены воедино исчерпывающим образом, не позволяют нам сказать, что имело место нечто подобное событию, а не простое стечение фактов, не имеющих особого значения. Если «Май 68-го» был событием, то именно потому, что он заслужил свое название, то есть «Май 68-го» произвел не только ряд фактов, но и произвел «Май 68 -го» [Meillassoux 2011, 3].

Между различными событиями устанавливается некая смысловая связь, и такие названия, как «11.09», «Май68-го», «Французская революция» – это обозначение не конкретных событий/фактов, а смысловой связи между ними. Можно провести аналогию между значением имени собственного (*Zinn*) и его референтом (*Bedeutung*) – имя «09.11» может быть идентифицировано как интенциональная функция, которая выделяет некоторое нечеткое множество набор событий как его экстенционал

(заговор террористов, падение самолетов, разрушение башен, речь президента Буша и т.д.). Это наименование данного множества событий, но не какого-либо конкретного события из него. Однако, будучи включенным в это множество, отдельное событие приобретает дополнительную значимость – оно, во-первых, определенным образом соотносится с другими событиями из этого множества, а во-вторых, приобретает категориальный смысл – например, разрушение башен рассматривается как эпизод заговора, инициированного террористами.

Применительно к событию это различие между смыслом (интенциональным, категориальным значением) и денотацией (экстенциональным, референтным) имени может перевести проблему в более привычную плоскость рассмотрения. Если перейти от характеристик имени к характеристикам именованного события, то это различие предстанет как разница между событием, как абстрактной смысловой конструкцией, и событием, как уникальным фактом¹⁶. В этом случае становится очевидным, что повторяться может только некоторая смысловая конструкция, в то время как референт, обозначенный одним и тем же именем (событие как факт), является уникальной сущностью. Однако, будучи вовлечен в подобную схему смысловых отношений, факт-референт уже не может быть «освобожден» от них, он есть референт не сам по себе, а чего-либо иного, несводимого к его физическим параметрам.

2.3. Событие как концептуальная схема

Зададимся вопросом – насколько адекватно расселовское уподобление событий объективно существующим и независимым от языка объектам – поскольку событие не представимо вне описывающего его языка, будь то язык физических (химических, биологических и т.п.) наблюдений или же естественный язык (знаковая система). Как отмечает В.З. Демьянков,

¹⁶ В лингвистике и логической семантике также приводятся сходные различия: между событием как идеей и событием как референтом (Демьянков 1983); или же реальные ситуации отграничиваются от абстрактных ситуаций и типов событий (Barwise, Perry, 1983).

Такая трактовка событий – как того, что описывается (характеризуется и т.п.) высказываниями, существуя самостоятельно, – не единственно возможная. Другой подход к событию – как к тому, что вне речи не существует: событие создается предложением или текстом, а точнее – их интерпретацией. При первом, более распространенном подходе (как в высказываниях типа «Предложения в перфекте описывают события уже произошедшие, но актуальные для настоящего момента времени») предполагается, что событие существует само по себе: высказывания дают его портрет, более или менее, сходный с оригиналом. Второй же подход отказывает событиям в самостоятельном существовании вне мышления и речи [Демьянков 1983: 321].

Знаменитый тезис Л. Витгенштейна «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» может быть переформулирован: с когнитивной точки зрения мир есть совокупность описанных и осмысленных фактов, то есть фактов, ставших событиями. Можно воспользоваться (хотя на иных основаниях) предложенным Аланом Бадью разграничением между фактом и событием:

...Событие не принадлежит к порядку реальности. Мысль здесь ориентируется на отличие события от его текущей имитации, которую можно назвать фактом... Событие есть то, чего недостает фактам, и то, что задает этим фактам истинность [Бадью 2005: 53, 54].

Если считать, что событие – это некоторое осмысление факта, то они оказываются явлениями различной природы: факт принадлежит миру физической реальности, тогда как событие – это ментальный образ некоторого факта и принадлежит к когнитивно-семиотической сфере. В этом аспекте представляется уместным вновь воспользоваться разграничением Готлоба Фреге между смыслом и значением (денотатом), но уже в несколько иной плоскости: факт можно рассматривать как денотат (возможно, и не существующий) некоторого события. Один и тот же факт может быть осмыслен по-разному и описан как различные события. Те факты, которые не были осмыслены, и потому не приняли форму собы-

тия, оказываются несуществующими. Напротив, возможна фальсификация фактов, когда конструируются некоторые описания событий (художественная литература, лжеистория, миры романа Оруэлла «1984» и т.п.), и, тем самым, фабрикуются не имевшие места факты и создаются возможные миры. Однако и в этом случае должна соблюдаться презумпция «действительности факта» – отсылающее к несуществующему факту, событие будет признано «недействительным», если только не будет указана область его существования (мифология, идеология, художественная литература). Независимо от его фактической основы, событие создается языком (семиотической системой) и «прочитывается» как событие только в заданном этой системой коде. Но и язык есть и отражение события, и соответствующая «рамка» (фрейм) для подобного отражения. Так, в современных лингвистических теориях базисной единицей семантики, а сейчас и грамматики, является событие; любое описательное предложение задает набор ролей и отношений, в которых кодируется происходящее.

Определенная автономия факта и события не позволяет выводить признаки события из признаков фактов, поэтому требуется иная методология и иные процедуры для их идентификации и анализа. Осмысление и осмысленность, а не физическая реальность оказываются существенными и необходимыми компонентами восприятия некоторого факта как события. В терминах семиотики событие предстает как формируемый посредством знаков и кодов конструкт. Предложенное решение различать категориальное значение события (событие как идея) и его референт (событие как уникальный факт) может быть подтверждено повседневной практикой такой категоризации. Неожиданное решение дает наш повседневный опыт – в дополнение к категориям, которые предоставляет лексикон нашего языка, мы постоянно создаем специальные категории, которые требуют некоторого окказионального именованя. Операция категоризации наделила некоторое случайное событие смыслом; на этой основе могут возникать нечеткие экстенциональные классы событий и объектов. Психологи были первыми, кто обратил внимание на этот феномен [Barsalou 1983], позже этот феномен был подробно описан в [Hofstadter, Sander 2013], когда крайне нелогичным образом совершенно различные события могут быть описаны как идентичные.

Сандерс и Хофштадтер обратили внимание на несколько необычный механизм такой категоризации, который основан не на схожести событий, а на создании некой концептуальной схемы.

*Мы говорили о феномене «то же и со мной» (me too), типичным для которого являются случаи, когда вы рассказываете историю, а затем друг спонтанно реагирует: «Со мной произошло то же самое!» По иронии судьбы, эти слова являются явным намеком на то, что с вашим другом случилось совсем другое, поскольку то, что вы слышите от своего друга, – это история, связанная с другим местом, другим временем, другими людьми, другими событиями и другими словами – и все же, несмотря на все эти различия, вы прекрасно знаете, почему ваш друг сказал: «**То же самое случилось и со мной!**» Хотя на одном уровне их история была совершенно не похожа на вашу, на другом, более абстрактном, это действительно одно и то же. Одна и та же концептуальная схема (“conceptual skeleton”) может описывать два совершенно разных события [Hofstadter, Sander 2013, 346].*

Исходя из этого, можно предположить, что, говоря о повторяемости событий, можно иметь в виду повторение не события как факта (референта), а как события, связанного с ним некоего смысла (понятия, паттерна, фрейма, концептуальной схемы).

2.4. Событие как фраза и событие как содержание

Было бы чрезмерным упрощением экстраполировать опыт интерпретации повседневных случаев непосредственно на исторические события. Помимо семантической несопоставимости между ними, возникает вопрос о номинации; в этом случае было бы неуместно использовать случайные окказионализмы, как это можно сделать для ad hoc категорий. Наша попытка прояснить, что считать событием, может быть основана на анализе того, что обычно подразумевается, когда речь идет о повторении

ях в истории. Тем самым, нет смысла искать универсальное определение, а должно исходить из принципа контекстуализма.

Так, в тех случаях, которые должны были подтвердить возможность повторения в истории, выделяются в качестве повторяющихся сущностей совершенно разнородные явления – *Французская революция, крик петуха в поэме Овидия, весенняя вспышка, восстановление империи*. Между ними нет ничего общего, кроме того, что все они при различных обстоятельствах были отождествлены с повторением некоторого предыдущего положения дел и тем самым стали прототипическими. Определение события привело к тавтологии: событие – это то, что люди 1) считают событием и 2) описывают как событие. Поэтому вопрос о том, что такое событие может трансформироваться в то: почему, как и при каких условиях та или иная ситуация понимается (воспринимается, осмысливается) как событие? Для этого решающую роль играют идентификационные схемы, и это подтверждает мысль Бадью о том, что семиотические средства выделения (селекции) и референции (соотнесения) создают событие. Для различения события требуется имя. Присвоенное имя связывает это событие, референт данного использования имени, с его предыдущими использованиями и референциями. Повторение событий предстает как результат операции отбора событий. В результате могут возникать (хотя и не обязательно) операции по переводу или, точнее, преобразованию уникальных фактов-референтов в повторяющиеся события-понятия, что можно считать эффектом повторения.

Из множества примеров «повторения в истории» рассмотрим, пожалуй, самый известный: описание Марксом ситуации прихода к власти Наполеона III (1852 г.). Маркс перефразирует Гегеля:

Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса [Маркс 1957, 115].

Дальнейшие объяснения, однако, указывают на то, что Маркс писал не столько о точном или регулярном повторении событий, сколько об использовании тех же семиотических средств, которые использовались для описания прежних событий, для описания новых... Эффект фарса (или

пародии) может возникнуть из-за несоответствия между новыми и старыми референтами. Использование одних и тех же символических средств создает основу для сравнения и выявления несоответствий. Маркс не довольствуется констатацией повторения; он указывает на причину такого отождествления. По Марксу (по крайней мере, если ограничиться этим отрывком), это повторение является результатом обмана или самообмана и может быть, как в случае с 18-ым брюмером, воспринято как фарс, карикатура или пародия. Однако это явление коренится в основах человеческой деятельности: люди не могут обойтись без использования предыдущих символических форм при описании и экспликации совершаемых ими действий:

Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого... И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789–1814гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 год, то революционные традиции 1793–1795гг. [Маркс 1957, 115–116].

Чтобы объяснить свой взгляд на повторяемость, Маркс использовал лингвистические и семиотические термины:

Так, новичок, изучивший иностранный язык, всегда переводит его мысленно на свой родной язык; дух же нового языка он до тех пор себе не усвоил и до тех пор не владеет им свободно, пока он не может обойтись без мысленного перевода, пока он в новом языке не забывает родной [Маркс 1957, 116].

«Язык» понимается Марксом в самом широком смысле, включая такие знаковые системы, как театр, карнавал, ритуал [ср.: Ponzio 2014]. Хотя в качестве сравнения и метафоры Маркс указывает на семиотическую основу такого отождествления, в то же время примечательно понимание Марксом праксиса как семиозиса: изменяющие мир действия участников исторических событий описываются как повторения некогда уже написанных текстов и знаков:

Целый народ, полагавший, что он посредством революции ускорил свое поступательное движение, вдруг оказывается перенесенным назад, в умершую эпоху. А чтобы на этот счет не было никакого сомнения, вновь воскресают старые даты, старое летоисчисление, старые имена, старые эдикты, сделавшиеся давно достоянием ученых антикваров [Маркс 1957, 117].

Маркс ссылаясь на семиотическое проявление событий и объяснял «повторы» сознательным или бессознательным намерением описать происходящее на «эталонном» языке. Однако эта ситуация может измениться – в послереволюционный период, согласно Марксу, обществу уже не нужно воскрешать символы прошлого:

Камилль Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, как герои, так и партии и народные массы старой французской революции осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах задачу своего времени – освобождение от оков и установление современного буржуазного общества... Но как только новая общественная формация сложилась, исчезли допотопные гиганты и с ними вся воскресшая из мертвых римская старина – все эти Бруты, Гракхи, Публиколы, трибуны, сенаторы и сам Цезарь... В классически строгих традициях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии. Так, одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной

революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета [Маркс 1957, 116].

Однако, по мнению Маркса, ситуация оказывается сложнее – буржуазное общество не хочет отказываться от языка героики и борьбы; она стремится прославить себя и использует старые символы для самоописания. В этой ситуации использование старого языка превращает новую реальность в пародию на старую. Маркс различает модусы обращения к семиотике прошлого – в случае «истинных» или первичных революций она служит языком выражения нового содержания, в случае стабилизации буржуазного общества символика прошлого оказывается формой самообмана и создает комический эффект.

В этих революциях воскрешение мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой, служило для того, чтобы возвеличить данную задачу в воображении, а не для того, чтобы увильнуть от ее разрешения в действительности, – для того, чтобы найти снова дух революции, а не для того, чтобы заставить снова бродить ее призрак [Маркс 1957, 117].

В этих условиях карикатурами становятся и новые реинкарнации прежних героев: «Они <французы> получили не только карикатуру на старого Наполеона, – они получили самого старого Наполеона в карикатурном виде, получили его таким, каким он должен выглядеть в середине XIX века» [Маркс 1957, 117].

Заключительную часть своего *Введения* Маркс посвятил различию между «*фразой*» и «*содержанием*». «Фраза» (способ выражения *содержания*) создает иллюзию тождества или сходства для различного содержания. В этом можно увидеть контуры того, что можно было бы считать семиотикой «события-как-знака», поскольку тем самым вводится различие между первичным «событием-как-оно-есть» и вторичным событием его репрезентации/интерпретации, и второе, «событие-как-знак», может заменить первое, . Это различие Маркс формулирует как дихотомию между фразой и содержанием. «Фраза» (способ выражения какого-либо содержания) создает иллюзию тождества или сходства для разных событий. Маркс ждал новую, беспрецедентную по своей природе пролетарс-

кую революцию, и она должна была изменить не только мир, но и способ представления истории. Эта революция уже не может основываться на исторических прецедентах, а должна была руководствоваться моделями достижимого будущего:

Социальная революция XIX века может черпать свою поэзию только из будущего, а не из прошлого. Она не может начать осуществлять свою собственную задачу прежде, чем она не покончит со всяким суеверным почитанием старины. Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы [Маркс 1957, 117].

Из вышесказанного следует парадоксальный вывод – Маркс, хотя и цитирует мысль Гегеля о том, что великие события происходят дважды, в действительности отрицает тезис о возможном повторении истории. Не события, а «фразы», описывающие их, могут повторяться, чтобы затушить их истинное содержание.

2.5. Событие как конструкт

Представляется возможным сравнить приведенную выше интерпретацию идеи Маркса с наблюдениями Пинкера, с одной стороны, и Хофштадтера и Сандера, с другой. Это позволяет прояснить понимание события как семиотического конструкта. Независимо от его действительной или вымышленной основы, событие создается языком (семиотической системой) и «распознается» как событие только в коде, заданном данной системой. Язык является, одновременно, и репрезентацией события, и интерпретативной «рамкой» для такой репрезентации. Пример, с которого Арнольд Тойнби начинает свою статью, может продемонстрировать детерминированность события его номинацией (кодированием):

В последние дни апреля 1865 года коней, еще в начале месяца служивших кавалерийским и артиллерийским войскам Северной Вирджинии, впрягли в плуги люди, тоже только что вышедшие из армии генерала Ли. Эти люди и эти кони оставили поле брани, чтобы на поле, ждущем плуга, совершать ежегодную сельскохозяйственную операцию, которую из года в год совершали и они сами, и их предшественники из Старого Света, возделывавшие ниву задолго до открытия Нового Света, и многие, многие поколения людей еще до рождения нашего западного общества, выполнявшие каждую весну эту же самую работу. И так было последние пять или шесть тысяч лет [Тоунбее 1948, 32–33].

Если рассматривать описываемое событие как репрезентацию повторяющегося факта, то это выглядит более чем странно. Очевидно, что, по крайней мере, до открытия Нового Света, пахота там не могла производиться лошадьми. Совершенно разные люди совершали самые разнообразные операции, и единственное, что их объединяет, это то, что все эти действия можно рассматривать как членов одной категории и называть одним и тем же термином: *ежегодно повторяющаяся сельскохозяйственная операция*.

В этом нас убеждает продолжение отрывка:

Итак, в последние дни апреля 1865 года кони и люди бывшей армии Северной Вирджинии совершали исторический акт – весеннюю пахоту, акт, неизбежно повторявшийся, по меньшей мере, пять или шесть тысяч раз и продолжавший повторяться и в 1947 году (в этот год автор статьи наблюдал весеннюю пахоту в штате Кентукки [Тоунбее 1948, 33].

Некое действие – указана весенняя вспашка, – *повторялось, по крайней мере, пять-шесть тысяч раз*, хотя в нем задействованы совершенно другие участники, другие орудия, не только перемены места, но и времени. Более того, описываемый факт вспашки в 1865 году можно было бы охарактеризовать и в других понятийных рамках – как окончание Гражданской войны, почему и артиллеристы, и кавалеристы, и их лошади

смогли перейти к мирной деятельности. Но в данном случае описание Тойнби события окончания гражданской войны переносится в другой концептуальный ряд.

В этом контексте Тойнби хочет провести аналогию между повторяющимися природными явлениями и человеческими действиями, которые они определяют (человеческими действиями в других областях деятельности, которые не находятся или, во всяком случае, не находятся под полным контролем физической природы – там же, с. 32). Таким образом, исключаются все специфические характеристики данного конкретного акта, чтобы его можно было охарактеризовать как проявление ежегодно повторяющейся сельскохозяйственной операции. Но это не исключает возможности других сравнений и, тем самым, выявления других повторений, уже не связанных с природными циклами. Как упоминал Тойнби, вспашка 1865 года стала возможной по двум причинам: капитуляции армии Конфедерации генерала Ли и уступки генерала Гранта, который позволил южанам перегонять лошадей на фермы. Так, одно и то же положение вещей можно охарактеризовать либо как повторяющуюся весеннюю вспашку, либо как единичное событие, которое правильнее было бы назвать окончанием гражданской войны и окончательным примирением. При этом повторяемость – это характерная черта языка для представления событий, а не само событие. Тогда не только этот отдельный эпизод, а всю Гражданскую войну можно рассматривать как целостное историческое событие, относя его к *классу событий, в которых история повторялась*:

Была ли, например, Гражданская война Севера и Юга явлением уникальным или же мы можем отыскать другие исторические события, отражающие достаточное сходство и родство с этим явлением, чтобы мы имели право рассматривать их как ряд явлений одного класса событий, в которых история повторяется хотя бы до некоторой степени? Автор склоняется именно к этой точке зрения [Тойнбе 1948, 34].

Подобным «повторением» Гражданской войны, по мнению Тойнби, стала война Бисмарка в 1864–1871 годах за объединение германских земель и создание «Второго рейха»:

Кризис, отраженный в американской истории Гражданской войной, был, разумеется, сходным по своей сущности с одновременным кризисом в германской истории, нашедшим свое отражение в Бисмарковых войнах 1864–1871 годов [Тоунбее 1948, 34].

Здесь не место приводить аргументы Тойнби в пользу такой, возможно, спорной идентификации. Важно отметить, что чем крупнее и многочисленнее становятся повторы, тем дальше они отклоняются от реальных параметров и все больше напоминают абстрактную идеологическую схему, формирующую расплывчатый концептуальный каркас современной политической мифологии Тойнби:

В формировании ряда федеральных союзов в современном западном мире и в индустриализации этих и других стран история повторяет себя в том смысле, что дает нам ряд более или менее совпадающих по времени примеров сходного общественного развития [Тоунбее 1948, 35].

2.6. Повторяемость как семиотическая репрезентация

Как видно из приведенных выше примеров, повторение приписывается событиям потому, что участники и наблюдатели исторического процесса используют одни и те же семиотические средства для репрезентации новых событий в своих описаниях и самоописаниях. Такая зависимость описания от его языка характерна для поэтики. Механизмы такого превращения события в уже существующую референтную форму можно найти в размышлениях Манделъштама о влиянии «классической» поэзии; она описывает то, что должно быть, а не как то, что уже было [очерк «Слово и культура», 1922]:

Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, глубокая радость повторенья охватывает его [Манделъштам 1990, 176].

То, что сказал Мандельштам, приводит к той же проблеме, что и в случае с пахотой, описанной Тойнби. Однако указываются и дополнительные факторы – это «радость узнавания», создающая синергетический эффект памяти и действия. Представление поэта о классической поэзии позволяет прояснить представление политического философа о поэзии прошлого, откуда извлекаются знаки для описания настоящего. Дело не только в том, что действующие лица исторических событий не создали нового языка и не обращаются к прошлому из-за отсутствия адекватных средств выражения. То, что Мандельштам называет «глубокой радостью повторения», можно понимать, как возможность возведения текущего события в ранг некоего уже описанного прототипа, а его семантика придает переживаемому эпизоду новый категориальный («глубокий», «вечный», «экзистенциальный» и т.д.) смысл. Как писал ранее тот же поэт в своей «Тристии» (отсылка к поэмам Овидия очевидна),

*О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.*

«Это уже произошло» можно понимать, как «подобное событие уже описано», хотя, конечно, это были совершенно разные фактические ситуации. Точно так же описанный любовник не мог быть тем, о ком писал Овидий. И петух не может быть прежним; в данном случае есть три петуха: тот, который кричит за окном, тот, который кричал раньше и послужил прототипом для Овидия, и стал тем «поэтическим» петухом, который кукарекал в «Тристии» Овидия. Петух, который кричал за окном (теперь), никоим образом не может быть тем же петухом, который «кричал в «Тристиях Овидия», то есть в поэтическом, а не реальном мире. Он также не может быть «настоящим» петухом, который кричал (однажды) в прошлом – в актуальном мире Овидия. Ни один из этих трех петухов ни в одном из миров не может быть «петухом вообще», даже если это поэтический мир. Единообразная интенциональная функция (Sinn) от имени «петух» соотносит имя с различными объектами («петухами») в разных мирах и в разное время.

Эта корреляция создает почву для ассоциирования всех возможных миров, которые могут быть описаны одними и теми же лингвистическими выражениями (хотя эти имена и предложения относятся к разным индивидам и предложениям). Общее название «петух», связывающее всех трех индивидуумов из разных миров, неожиданно приобретает черты имени собственного и, в нестрогом смысле, становится квази-жестким десигнатором, так как указывает в каждом из этих трех миров на единственного квази-одного-и-того-же-петуха. Единая интенциональная функция создает возможность мыслить мир, описываемый в одних и тех же выражениях, как «один и тот же, воспроизводимый в определенные моменты времени». Именно так можно понимать слова Мандельштама: «*Любовник вспоминает, что это уже было*».

На наш взгляд, Мандельштам эксплицирует лингвистический прием, который непреднамеренно использовал Тойнби. Высказывания, описывающие исторические события, актуализируют (или создают) их смысл, а выражение их в одних и тех же лингвистических терминах является способом идентификации этих событий. Таким образом, выделяется некая абстрактная семантическая структура как повторяющаяся сущность, которая реализуется в разные моменты времени, в разных локусах и вовлекает разных участников. Аналогия между языком и речью, как взаимосвязью между совокупностью абстрактных единиц и отношений и ее материализованным проявлением, оказывается уместной. Действует тот же принцип, на который обратил внимание Фердинанд де Соссюр в главе «Идентичность, реальность, значимость», рассуждая о том, почему ежедневное отправление поезда Женева-Париж в 8:45 воспринимается как одно и то же повторяемое событие?

На наш взгляд, это тот же самый скорый поезд, а между тем и паровоз, и вагоны, и поездная бригада – все в них, по-видимому, разное. ... представление об одном и том же скором поезде складывается под влиянием времени его отправления, его маршрута и, вообще, всех тех обстоятельств, которые отличают его от всех прочих поездов... Всякий раз, как осуществляются одни и те же условия, получают одни и те же сущности. И, вместе с тем, эти сущности не абстрактны, потому что улицу или скорый поезд нельзя себе представить вне материальной реализации [Saussure 1977, 109].

Анализируя, что Мандельштам мог иметь в виду под выражением «это уже было», вместо понятия «референция» или «интерпретация» в строгом логическом смысле мы использовали менее обязательное понятие «единообразие в интерпретации» [Barwise, Perry 1981: 674–675] или, в более привычных терминах, некоторую интенциональную функцию¹⁷. Эта интенциональная функция может иметь различное расширение в разных временных областях (мирах). Лингвистические критерии эквивалентности выражений устанавливают квази-тождественное отношение между мирами – идентичность, основанную на смыслах (интенционалах, концептах) языковых выражений, а не на их значениях (экстенционалах, референтах, денотатах). Такое решение может быть распространено на природу повторяемости исторических событий: идентификацию того, что он имеет в виду, используя выражения «то же самое» или «это уже произошло».

Мандельштамовское понятие «классической» поэзии, как описывающее «долженствующее быть», является более глубоким, чем то, которое сводит повторение событий исключительно к символической форме, поскольку оно также содержит модальный компонент «долженствования». Если Маркс объяснял повторяемость событий неумением говорить на новом языке или сознательным обманом, то, по Мандельштаму, повторение – это некий аналог «вечных истин» – истинность высказывания, но только в контексте его актуализации (см. ниже). Лингвистические критерии эквивалентности выражений становятся инструментом установления квазитожественных (гиперинтенциональных) отношений между мирами¹⁸.

¹⁷ Подобный подход предполагает учитывать и варьируемую интерпретацию, когда имеется в виду не тождественность индивида из области интерпретации, а единообразие при его выделении. Это отражает повседневное, «наивное» представление об условиях истинности и референции. Так, Дж. Бэрвайс и Дж. Пэрри считают, что ребенок понимает предложение «Это – молоко», если он высказывает его в тех условиях, когда это предложение истинно. Такое единообразие, строго говоря, не есть интерпретация, поскольку ребенок «взаимодействует» с различными бутылками молока в различное время (Barwise, Perry 1981: 674–675).

¹⁸ Понятие «гиперинтенциональности» было введено в работе (Cresswell 1975). Она относится к тождеству смыслов, но не референтов. Гиперинтенциональность возникает, когда интенционал некоторой пропозиции P (множества миров) может совпадать с интенционалом пропозиции Q , но P не равен Q .

Указанная Тойнби в вышеприведенной цитате зависимость «повторяемости» событий от языка описания и модальности интерпретации («некоторое событие может возникнуть в будущем vs должно возникнуть в будущем») позволяет вернуться к нашему описанию того, что можно понимать под словами О. Манделъштама о «классической» поэзии и о «повторении» («это уже было»)¹⁹. Не только к поэтике, но и философии истории может быть применено следующее понимание повторяемости: «мир, который описывается в одних и тех же выражениях, может восприниматься как “один и тот же”, регулярно или нерегулярно воспроизводимый в определенные моменты времени т». Как уже было сказано, «долженствующее быть», по Манделъштаму, – это, одновременно, и «долженствующее быть» положение дел, при котором он «хочет жить», и вместе с тем – это и «долженствующее быть» актуализованным выражение языка. При этом, как можно было убедиться, высказывания, описывающие исторические события, актуализируют (или создают) его смысл, и описание в тех же языковых выражениях есть способ отождествить эти события. Тождество двух речевых выражений детерминировано не непосредственно самими этими ситуациями, а наличием вневременной абстрактной структуры, манифестациями которой оказываются наблюдаемые события. Принимая подобное допущение для исторических событий, мы, даже если и не рассматриваем историю как миф (в трактовке Леви-Строса), во всяком случае, стремимся описать ее как воспроизводимую логическую или сущностную структуру.

2.7. Возвращаясь к Гегелю: повторяемость как не-случайность?

В свете вышесказанного утверждение о повторении двух событий в разные моменты времени приобретает более глубокий смысл, чем воз-

¹⁹ Ср.: «Я взял латинские стихи, потому что русским читателем они явно воспринимаются как категория долженствования: императив звучит в них нагляднее. Но это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было» - Манделъштам 1990, 177.

возможность их одинаковой языковой фиксации. Только лишь «отсутствием нового языка» невозможно исчерпывающим образом объяснить, почему необходимо пользоваться словарем, заимствованным из прошлого. Как мы попытались показать, рассматривая вышеприведенные примеры, описание, использующее одни и те же лингвистические выражения, призвано подчеркнуть, что события реализуют некоторую единую семантическую структуру и, в этом отношении, являются детерминированными, или, говоря словами Мандельштама, они являются «долженствующими быть». В логических терминах детерминированность такого события можно представить, как его неслучайность. Это понимание присутствует в замечании Гегеля, которое было процитировано и истолковано Марксом, но иначе, как это сделал Гегель во введении к *«Философии истории»* (1837):

... Так Наполеон был два раза побежден, и Бурбоны были изгнаны два раза. Благодаря повторению того, что сначала казалось лишь случайным и возможным, оно становится действительным и установленным фактом [Гегель 2000: 335].

Утверждение о повторяемости событий в историческом дискурсе можно рассматривать как спецификацию своеобразного прагмасемантического механизма. Что касается исторических событий, то сама процедура описания какого-либо события, как повторяющегося, придает ему черты прагматически необходимой истины²⁰. Ссылка на прецедент необходима, поскольку указывает на внутреннюю связь между ним и предыдущими обстоятельствами. Это нечто большее, чем способность говорить о разных вещах, используя одни и те же выражения: таким образом, можно перейти от прагматической интерпретации истины к эпистемической модальности неслучайной регулярности.

Это то, на что указывает Гегель, а именно – превращение того, что казалось случайным, в возможное. Поскольку ни одно историческое событие не может рассматриваться как происшедшее с необходимостью, неслучайность выступает в качестве квазинаучного коррелята поэтических «вечных истин». Возникает неэксплицированный интерпретацион-

²⁰ Прагматически необходимо истинными высказываниями являются те, которые, хотя и не выражают необходимость истинной пропозиции, тем не менее, будучи высказаны, обязательно будут истинными: «Я здесь сейчас», «Я сейчас говорю».

ный цикл, основанный на рекурсивном механизме, созданном историком-наблюдателем. На каждом шаге добавляется неявная информация о предыдущем шаге, в результате и появляется возможность утверждать, что *одно и то же событие повторилось*.

События, происходившие в разное время и в разном месте, представляются в виде двух повторений, и на основании их повторения оба представляются регулярными: *Наполеон потерпел поражение дважды, и дважды Бурбоны были изгнаны*. Для Гегеля первое поражение Наполеона могло показаться случайностью, но при соотнесении с последующим оно также оказывается детерминистическим. Возникает рефлексивная петля: первое поражение не было случайным, потому что оно повторилось в будущем, второй государственный переворот не был случайным, потому что он повторил первый.

Арнольд Тойнби признавал связь между утверждениями о повторении событий и модальностью высказываний об этих событиях. Более того, он даже сформулировал проблему в лингвистических терминах, как вопрос о том, следует ли понимать значение модального оператора как обязательность или как возможность:

Когда мы спрашиваем себя: «Повторяется ли история?» – действительно ли мы не имеем в виду ничего, кроме того, что «история в отдельных случаях в прошлом повторялась»? Или нас интересует, управляется ли история непреложными законами, которые не только действовали в каждой из подобных ситуаций, но и приложимы к тем ситуациям, что могут возникнуть в будущем? При такой интерпретации слово «может» означает фактически «должно»; при другой трактовке это означало бы «может быть» [Toynbee 1948, 30].

Лексическая расплывчатость создает возможность для концептуального маневра, неслучайность события может выступать и как его вполне вероятная возможность, и даже как неизбежность.

Описание, использующее одни и те же языковые выражения, призвано подчеркнуть, что оба события реализуют некоторую единую смысловую структуру, и в этом отношении являются детерминированными, или, в более слабой форме, неслучайными. Во временной логике из того,

что в истории имело некоторое состояние дел P , следует, что это P возможно. Поэтому рассматриваемые утверждения «Событие P произошло в момент времени t_1 »; «То же самое произошло (событие P повторилось) в t_2 » претендуют на то, что они содержат не подлежащую обсуждению пресуппозицию о не-случайности, детерминированности, определенной закономерности и, возможно, каузальном отношении между отождествляемыми ситуациями. Как обычно бывает в политических и исторических высказываниях, то, что проблематично (идентичность двух ситуаций) представляется как установленное. Тем самым, соотнесенное с временной координатой t_2 событие выступает как манифестация некоторой вневременной каузальной структуры, а соответствующая пропозиция истинна при приписывании как минимум двух временных переменных – t_1 и t_2 . В общем случае: утверждается наличие достаточных условий для события X , и более того – наличие каузальной структуры (смысла), что есть признание не-случайности и осмысленности этого события. Вышеприведенная формула видоизменяется. Если имело место P , то следует, что P возможно, т.е. это состояние может (могло) быть реализовано в истории, а может (могло) и не быть. Следовательно, это событие P случайно: возможно P и возможно не- P . Даже если оно и каким-то образом повторилось, то это повторение также случайно. Отрицанием случайности явится не-случайность²¹.

Здесь следует отграничить языковую семантику от определений, принятых в модальной логике, где *случайность* синонимична возможности, почему и ее отрицанием, не-случайностью, будет необходимость. Между тем, применительно к языковой семантике не-случайность – это, скорее, каузированность, закономерность, и подтверждением этому становится именно повторяемость. Применительно к истории предметом

²¹ Определение, которое дал категории случайного Аристотель, проясняет, почему в философии истории отрицание повторяемости событий ассоциируется с «не-научностью» исторического знания: «Причины, по которым возникает случайное, неопределенны; поэтому случайное скрыто от человеческого разума и определяет собой (явления) не по существу, а как нечто сопровождающее... Случайное есть то, что, правда, бывает, но не по необходимости, не всегда и не по большей части; этим мы сказали, что такое случайное, и отсюда ясно, отчего о нем не бывает науки; ибо всякая наука имеет своим предметом то, что бывает всегда или по большей части; случайное же не относится ни к первому, ни ко второму» (Метафизика, X1; 8 и 1065а).

рассмотрения становится не некоторый факт, а событие, то есть оно выступает в семантизированной форме. При оценке некоторого события P , как неслучайного, вокруг него как фон, сцена, мир выстраиваются различные исторические эпохи. Каковы бы ни были преходящие исторические обстоятельства, имеет место P : одна и та же смысловая структура различным образом реализуется в различных мирах в различные моменты времени, но при этом может быть зафиксирована и репрезентирована посредством единообразного вербального описания. . И обратное – если уже наличествует эталонная фиксация события, то некоторое новое событие может быть проинтерпретировано как реализация этой структуры, уже ранее описанной применительно к ранее имевшему место событию (мы «вспоминаем, что это уже было»). Очевидно, что некоторые события «менее случайны» или «почти не случайны». Теоретически, возможно каждому событию приписать определенную вероятность. Однако это применимо только к простейшим событиям, при относительно небольшом наборе факторов. Вместо приписывания вероятностного веса действует более привычная для нашего понимания истории логика, отрицающая случайный характер события. Высказывание о повторяемости P в различные моменты времени – это неявное утверждение о 1) не-случайности P ; 2) возможности P в новый момент времени t_2 . При 3) отрицании возможности не- P – высказывания о повторяемости P приобретают характер утверждений о нестрогой необходимости или долженствовании P : « P » истинно, но только в те моменты времени, когда P возможно. Если же P возможно, то оно должно иметь место. Подобным образом описываемое P приобретает черты необходимо истинного высказывания – сама его актуализация предполагает его истинность. Понимаемая таким образом «необходимость» носит не логический, а прагмасемантический характер – как, например, в высказывании «Я сейчас здесь»: любой акт его высказывания делает эту самую по себе случайную пропозицию необходимо истинным высказыванием.

Аналогичным образом мы в свое время предложили рассматривать и «поэтическую необходимость» высказывания – истинность во всех мирах, но только в которых оно высказывается, и только в момент высказывания. Например, «Я помню чудное мгновенье» истинно во всех тех мирах, в которых некто высказывает «Я помню чудное мгновенье» в тот мо-

мент, когда некто помнит чудное мгновение [подробнее в: Золян 1991: 192–199]. Применительно к историческим событиям сама процедура описания некоторого события как повторяемого (акт высказывания « P » о событии P в момент времени t_2) придает ему черты необходимо истинного, если высказывание « P » есть описание события P в момент времени t_1 , хотя само по себе ни одно историческое событие не может считаться логически необходимым. Возникает неформулируемый в явном виде интерпретационный круг (точнее, рекурсивный механизм – на каждом шаге прибавляется имплицитная информация о предшествующем шаге), в результате которого становится возможным утверждать: $P(t_1)$ и $P(t_2)$ – одно и то же. Не-случайность $P(t_2)$ ретроспективно характеризует как неслучайное также и событие $P(t_1)$. Например, убийство Лермонтова и Пушкина на дуэли – это различные события. Но высказывание «Великий русский поэт убит на дуэли» истинно как относительно 1837г., так и 1841г. Тождество этих высказываний и их одновременная истинность может послужить основанием рассматривать одно событие как повторение другого. Тем самым, событие, которое в 1837г. было уникальным («Великий русский поэт убит на дуэли»), в 1841г., описанное тем же высказыванием «Великий русский поэт убит на дуэли», оказывается повторяемым.

Разумеется, вовсе не обязательно, чтобы эти высказывания были реально сделаны в 1837 и 1841гг. Они могли быть сделаны в любой последующий момент времени, но отсылая к тем возможным речевым актам, которые могли бы иметь место в указанные моменты времени. Высказывание о повторяемости P в различные моменты времени есть неявное утверждение о не-случайности P в любой тот момент времени, когда P имеет место и о его возможности в новый момент (t_3). Мы высказываем « P » относительно события, имеющего место в (t_2), тогда и только тогда, когда это событие может быть описано как высказывание «имеет место P », тем самым воспроизводя высказывание, сделанное (или якобы сделанное) в момент времени t_1 . Благодаря этому данное высказывание становится необходимо истинным, но только в прагмасемантическом смысле – оно истинно во всех тех мирах, относительно которых оно высказывается и в которых оно высказывается; поскольку в иных мирах и относительно иных миров, не допускающих подобного описания, данное высказывание « P » не высказывается, то оно не предполагает референции к иным мирам

и относительно них не оценивается. Несколько огрубляя и упрощая картину: высказывание «*P*» о повторяемости события *P* истинно всегда, когда *P* повторяется (а *P* повторяется, когда мы описываем некоторое событие как «*P*»). Тем самым высказывания о повторяемости события *P* приобретают характер прагмасемантически самоподтверждающегося прогноза, но который «на самом деле» идет не от прошлого к будущему (переносит описание имевшего в прошлом события на настоящее и, далее, на будущее), а, напротив, приписывает прошлому характеристики настоящего – «*предсказывая назад*» (Пастернак). Значительно раньше Тойнби, в 1798 году, Фридрих фон Август Шлегель заметил: «Историк – это пророк, обращенный назад» [Schlegel 1977 1 (2): 196]. Вероятно, эту зависимость «событий» от описаний, приводящую к их «самоподтверждению», имел в виду Поппер. Поппер в полемике с Тойнби об этом афоризме Шлегеля, но существенно дополняет сравнение историка с предсказывающим будущее оракулом – его предсказания (пророчества) обречены на удачу, поскольку, принимая идею повторения, человек создает почву для его постоянного подтверждения. Утверждения о повторении события *P* могут функционировать как самосбывающийся прогноз:

Так, если мы верим в закон повторяющихся жизненных циклов (вера, обретенная в аналогических спекуляциях или, быть может, унаследованная от Платона), то будем находить его историческое подтверждение на каждом шагу. Однако это не что иное, как просто метафизическая теория, которая только кажется подтвержденной фактами, – фактами, которые при более внимательном рассмотрении оказываются выбранными в угоду тем самым теориям, которые они должны проверить [Поппер 1993: 131].

Таким образом, высказывание становится необходимо истинным, но только в прагмасемантическом смысле: оно истинно во всех тех мирах, о которых оно выражается и в которых оно выражается; так как в иных мирах и относящиеся к другому положению вещей это утверждение «*P*» не выражается, оно не подразумевает отсылку к другим мирам и не оценивается относительно них. Идея Мандельштама о *классичной* поэзии, описывающей то, что *должно быть*, похожа на максиму о вечной актуальности классической поэзии, которую Борхес вложил в уста Аверроэса.

...Нет такого человека, который бы хоть раз не почувствовал, что судьба могуча и тупа, что она безвинна и в то же время беспощадна, Ради этой мысли, которая может быть мимолетной или неотвязной, но которой никто не избежал и написан стих Зухайра. Сказать лучше, чем сказано у него, невозможно. Кроме того – и это, пожалуй, главное в моем рассуждении, – время, разоряющее дворцы, обогащает стихи. Стих Зухайра, написанный им тогда в Аравии, сопоставлял два образа – образ старого верблюда и образ судьбы; но, прочитанный теперь, он вдобавок воскрешает память о Зухайре и побуждает нас отождествить свои горести с горестями этого умершего араба. Прежде у этого стиха было два свойства, теперь их стало четыре. Время расширяет сферу стиха, и я знаю такие строки, что, подобно музыке, звучат всегда и для всех людей [Борхес 1984, 158–159].

Как видно, как и в случае со стихами Овидия и Зухайра, некоторые утверждения о том, что некое событие P_x , происходящее в момент времени t_n , повторяет какое-либо другое событие P_y , произошедшее в момент t_{n-m} , может быть оценено как истинное, если одни и те же лингвистические выражения могут описать оба события. Эта зависимость «событий» от описаний приводит к их «самоподтверждению» и «самопредсказанию». Имеют место ситуации, *которые ни один человек не может избежать*, и в тот момент, когда они происходят, их можно описать существующими «классическими» выражениями. Они всегда верны, потому что они произносятся тогда, когда имеет место положение дел, которое эти высказывания репрезентируют, и эта ситуация является контекстом их актуализации. Опять же возникает рекурсивный цикл: есть некоторая ситуация получает некоторое описание, которое задает («предсказывает») появление ситуаций, которые могут быть описаны аналогичным образом.

Не только к поэтике, но и к философии истории может быть применено следующее понимание повторения. Если подобным образом интерпретировать размышления Тойнби о весенней пахоте, то некоторые положения дел, описанные в тех же выражениях, могут быть истолкованы как «одинаковые», регулярно или нерегулярно воспроизводимые в

определенные моменты времени. Выражения – это способ идентификации этих событий. Высказывания, описывающие исторические события, определяют (или создают) их смысл, соотнося их с некоторой семантической структурой, проявляющейся в различных модусах, временах, локусах и вовлекающих разных участников. В то же время рассмотрение прагмасемантики высказываний о повторении позволяет дополнить предложенное К. Поппером наблюдение о том, что факты выбираются в пользу тех самых теорий, которые они должны проверять, показывая, на основании каких лингво-семантических механизмов возможны подобные манипуляции с фактами. Как видно из анализа «вечных истин», важен не только отбор фактов, но и их толкование и контекст (вспомним приведенные выше слова Маркса: *«Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого»*). Описывающие свои действия участники исторических процессов столь чувствительны к истории, поскольку из не-случайности прошлого выводят не-случайность собственного настоящего, которое должно быть зафиксировано или преодолено в будущем – путем изменения мира, введения дополнительных условий и удаления нежелательных последствий.

Однако, конечно, термин Поппера – *метафизические теории* – указывает на то, что для таких корреляций необходима концептуальная семантическая схема. (В терминах, которые мы используем, это фреймы, концептуальные события, интенциональные события и т.д., которые будут проявляться в фактических событиях, референтах, экстенционалах и т.д.). Откуда берется эта вневременная воспроизводимая в истории смысловая структура? Извлекается ли она из истории или приписывается историком-идеологом? Это – конкретизация принципиально неразрешимого вопроса: имеет ли история смысл или же смысл приписывается интерпретатором? Но возможен ли какой-либо взгляд на историю, не использующий эти понятия? Даже представляя историю как последовательность несвязанных случайных событий, мы создаем некоторый текст (антитекст, антисмысл которого структурирован антицелостностью, антисвязностью и антиединством). Во всех случаях необходима некоторая концептуальная метасхема (или метанарртив), в которой некий факт мо-

жет быть осмыслен и способен приобрести статус повторяющегося или неповторимого события. Как отмечал Витгенштейн,

Смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности... То, что делает это неслучайным, не может находиться в мире, ибо в противном случае оно снова было бы случайным. Оно должно находиться вне мира [Витгенштейн 1958, 6.41].

Преобразование факта в событие переносит его из мира физического в ментальное, концептуальное и текстуальное пространство, где оно наделяется смыслом и перестает быть случайным. И наоборот: рассматриваемое как факт, событие теряет смысл и становится случайным. Несколько упрощая картину, можно сформулировать, что утверждение «*P*» о повторяемости события *P* истинно всегда, когда *P* повторяется (а *P* повторяется, когда мы описываем какое-либо событие как «*P*»). Таким образом, утверждения о повторяемости события *P* приобретают характер прагматически самоподтверждающего прогноза, но который описывает в настоящем не состояние мира в будущем, а напротив, приписывает прошлому характеристики настоящего – «предсказывая назад».

В этих условиях возможно и «заимствование имен прошлого» для описания и, тем самым, осмысления новых событий, т.е. может быть и такая интерпретация конкретного положения вещей, при которой оно предстает как уже ранее описанное относительно какого-либо предыдущего события. Это возможно потому, что одни и те же лингвистические выражения представляют как значения (интенционалы), так и референты (экстенционалы, денотации, положения дел). Преднамеренное или бессознательное неразличение этих двух аспектов позволяет идентифицировать различные положения вещей (референтные события), если они описываются одними и теми же выражениями и, тем самым, интерпретируются как различные проявления одного и того ж событийного понятия.

Событие, описываемое в дискурсе, можно рассматривать как событийно-семантическую модель (или событие-концепт), которая может быть реализована в различных уникальных событиях-референтах (фактах). Таким образом, события-референты, будучи описанными в опреде-

ленном историческом дискурсе, выступают в качестве членов класса, который определяется событием-концептом. Хронологически первый из этих членов класса концептуализируется как *событие-прототип*. Все последующие события рассматриваются уже как его повторения. Семиотически эти сущности являются проявлением одного и того же события-как-концепта.

В основе различных версий философии истории лежат различные лингвистические и семиотические механизмы описания, интерпретации и осмысления событий и фактов. Отправной точкой является определение того, какие события и факты можно считать историческими. Модальная оценка и причинно-следственная оценка являются одними из наиболее значимых характеристик события. Как мы видим, повторяемость является свойством не самих событий, а того, как они представлены. Помимо самих семантических факторов, актуальны и прагматические факторы – выбор тех контекстов, в которых некое описание события отсылает к множеству возможных миров, в которых оно происходит.

В то же время, в историческом дискурсе модальная оценка сознательно или бессознательно переносится из модальности высказывания (*“de dictum”*) в модальность *“de re”* – необходимость или не-случайность выступают как характеристики самого события, а не высказываний о нем. Если возможно спорить о том, может ли одно и то же событие произойти дважды, повторяется история или нет, то очевидно, что события понимаются как нечто принципиально иное, чем некая невоспроизводимая комбинация объектов, знаков и отношений в пространственно-временных координатах. Это предполагает определенную интерпретацию происходящего, установление межмировых семантических соответствий между различными состояниями дел.

Историография – прекрасное поле для таких исследований: она определяет, какие из имевших место фактов так и не стали «историческим событием» и обречены без следа «кануть в Лету», а что было зафиксировано и осмысленно. Из анализа того, что в историографии и философии истории признавалось «одним и тем же» событием, можно вывести те характеристики, которые рассматривались как существенные для идентификации применительно к этим случаям. Если невозможно сконструировать тот или иной универсальный «класс событий» и выде-

лить его признаки, но вполне осуществимо выделить окказиональные или контекстуальные классы: что считать «одним и тем же» применительно к определенным случаям и при определенных условиях, или, другими словами, какие признаки существенны для идентификации, а какие характеристики в этих случаях можно игнорировать. В этом приемлемо увидеть проявление еще одной закономерности: общество (и через него и сама история), как сложные автономные системы, сами порождают свое прошлое, а историография фиксирует результаты этой постоянно проводимой операции [Луман, Социальные системы 2007, 74].

ГЛАВА III.

МЕХАНИЗМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В «ИСТОРИИ АРМЕНИИ» МОВСЕСА ХОРЕНАЦИ

3.1. Нация есть наррация...

В данной главе мы рассмотрим весьма существенно отличающиеся проблемы – особенности построения национальных историй, модальные семантические характеристики исторического дискурса, а далее обратимся к нарративным характеристикам «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци (V век). Такое сочетание разнородных тем объясняется следующим. Создание национальных историй принято считать характерной чертой современности, связанной с процессами создания национальных государств. Эти истории призваны проследить происхождение нации до мифологизированной древности и легитимизировать существование национального государства. Между тем, «История» Хоренаци показывает, что подобные нарративные практики могли возникнуть в раннем Средневековье. Мы полагаем, что объяснение этому феномену может быть найдено, если отделить изменчивые политические и социокультурные контексты нарративов от характеристик текстов, в которых манифестируются относительно устойчивые базовые семантические структуры исторической наррации. Во-первых, это – модальные, временные и причинно-следственные характеристики и особое взаимодействие между ними. Во-вторых, такой подход позволяет по-новому интерпретировать этот классический текст армянской историографии и соотнести его с современными нарративными практиками нациестроительства. Соответственно, во второй части статьи мы обратимся к нарративным характеристикам национальных историй; а в третьей части, используя эту методоло-

гическую основу, эксплицируем основные смысловые структуры «Истории» Мовсеса Хоренаци.

Конструирование национальной истории и общенациональной исторической памяти связано с эпохой Модерна, когда окончательно сформировалось понятие нации и национального государства. История, идущая из глубокого прошлого, становится обязательным атрибутом национального государства; она должна узаконить его возникновение и существование и обеспечить связь с его чуть ли не допотопным прошлым. Это было отмечено Эрнстом Ренаном в его ставшей классикой лекции «Что такое нация?» [Renan 1990; первоначально –1882]; в 80-е и 90-е годы этот подход стал определяющим в политической философии и историографии [Hobsbawm 1991; Gellner 1996; Anderson 1992; Smith 1995]. Современная нация мыслится как результат определенной конструкции, одним из главных инструментов и компонентов которой является история:

Национальная история, таким образом, служит оправданием существования, своеобразия, а часто и величия нынешнего национального государства. Для тех, кто стремится к государственности, история служит легитимизацией этого желания. Апелляция к истории как к легитимации особенно интенсивна во времена быстрых социальных перемен, внутренних конфликтов, революций, гражданских войн или войн, когда мы сталкиваемся с наибольшей концентрацией попыток «описать нацию» назад во времени, создать предысторию настоящего и сконструировать традиции [Berger 2015, с. 4].

Конструктивистский подход обуславливает целое направление междисциплинарных исследований. Были описаны многочисленные случаи создания и воссоздания национальных историй в XIX–XX веках. Распад колониальной системы, затем СССР и Югославии, привел к образованию новых государств и историй. Было осуществлено несколько крупных международных научных проектов, главным из которых стала пятилетняя программа 'Representations of the Past: The Writing of National Histories in Nineteenth and Twentieth Century Europe' (2003–2008) («Представления прошлого: написание национальных историй в Европе XIX и XX веков» (2003–2008гг.), профинансированная Европейским научным

фондом. После его успешного завершения проект породил новые связанные исследовательские программы. С этим проектом тесно связаны серия научных книг: «Осмысление исторических исследований в исторических культурах» (“*Making Sense of History Studies in Historical Cultures*” “Berghahn Books publishing”; Изд-во “Berghahn Books”; с 2002г. вышло уже сорок семь томов этой серии) и восьмитомная книжная серия “*Writing the Nation*” (Изд-во “Palgrave Macmillan” в 2008–2015гг.)

Безусловно, помимо изучения политического и социокультурного контекстов, особое значение приобрело выявление инструментария конструирования истории и семиотических форм ее репрезентации. Благодаря такому подходу вопрос повествования стал рассматриваться как один из первичных механизмов создания истории, а значит, и нации. Как было сказано [со ссылкой на Bhabha, 1990] одним из руководителей и участников вышеупомянутого проекта:

Нация – это наррация. Истории, которые мы рассказываем друг другу о нашей национальной принадлежности и бытии, составляют нацию. Эти истории меняются во времени и пространстве и всегда оспариваются, часто жестоко. Немногие парадигмы в области культурного смыслопроизводства были столь же мощными, как национальная, и значительное влияние национализма как идеологии и социального движения в современном мире свидетельствует о его непреходящей и глобальной востребованности [Berger 2008, 1].

Статья “*Narrating the Nation*” [Bhabha 1990] стала методологическим ориентиром для ряда исследований, составивших одноименную коллективную монографию [Berger et al., 2008]. Однако сам нарратив не стал основным объектом обсуждения. Между тем, Бхабха настаивал на раскрытии всего смыслового потенциала такого понимания нации, как процесса и результата повествования, и этот потенциал далеко не ограничивается политическими и социально-экономическими факторами:

Народы, как и нарративы, теряют свои истоки в мифах времени и полностью осознают свои горизонты только в воображении. Такой образ нации – или повествование – может показаться

невероятно романтическим и чрезмерно метафоричным, но именно из этих традиций политической мысли и литературного языка нация возникает как мощная историческая идея на Западе. Но в пылу политических споров «удвоение» знака часто удается остановить. Янусоподобный лик идеологии принимается за чистую монету, а его значение фиксируется, в конечном счете, по одну сторону водораздела между идеологией и «материальными условиями». Проект «Нация и повествование» заключается в том, чтобы исследовать амбивалентность языка, как такового, в конструировании дискурса нации с ликом Януса. Это превращает знакомого двуликого бога в фигуру невероятного удвоения, которая исследует национальное пространство в процессе артикуляции элементов: где значения могут быть частичными, потому что они находятся “in medias res”; и история может быть наполовину сделана, потому что она находится в процессе создания [Bhabha 1990, p. 1; 3]²².

Изучение различных случаев показывает, что нарративы и нарративные практики создают историческое прошлое и формируют историческую память. Это привело к изменению точки зрения на историка: из объективного наблюдателя, каким его привычно было считать раньше, теперь ему приписывают роль нарратора и мифотворца:

Недавнее доминирование конструктивистской школы в исследованиях национализма усилило наше осознание той роли, которую историки сыграли в конструировании мифов о народах. Через национальную историю они создавали специфическую форму исто-

²² Приведем в оригинале: “Nations, like narratives, lose their origins in the myths of time and only fully realize their horizons in the mind's eye. Such an image of the nation – or narration – might seem impossibly romantic and excessively metaphorical, but it is from those traditions of political thought and literary language that the nation emerges as a powerful historical idea in the west... But in the heat of political argument the 'doubling' of the sign can often be stilled. The Janus face of ideology is taken at face value and its meaning fixed, in the last instance, on one side of the divide between ideology and 'material conditions'. It is the project of *Nation and Narration* to explore the Janus-faced ambivalence of language itself in the construction of the Janus-faced discourse of the nation. This turns the familiar two-faced god into a figure of prodigious doubling that investigates the nation-space in the process of the articulation of elements: where meanings may be partial because they are in medias res; and history may be half-made because it is in the process of being made” (Bhabha, 1990, p. 1; 3).

рической репрезентации, которая сопровождала формирование национального государства или стремилась повлиять на существующие самоопределения национального сознания. Они сформировали множество национальных основных нарративов, которые находились внутри и сами были частью культурных и политических отношений власти [Berger 2008, 5].

Во многих случаях такие нарративы не основаны на источниках, а напоминают художественные тексты, в которых гипотеза уступает место вымыслу. При этом в некоторых случаях эти нарративы утверждают, что реконструкция прошлого основана на достоверных источниках, которые ранее не были известны или намеренно скрывались злонамеренными соседями²³. [Эти случаи были проанализированы в Geyer 1989; Sethi 1999; Smith 2003; Wang 2007; Lorenz 2007; Berger 2007a, b; Berger and Lorenz (eds.) 2008, 2010; Rigney 2008]. При всем их многообразии их можно свести к метанарратив-модели:

Нации артикулируются через истории, которые люди рассказывают о себе. Повествование чаще всего представляет собой рассказ о происхождении и преемственности, часто включающий в себя жертвы и мученичество, но также славу и героизм. Национальная история – это история преемственности, древности истоков, героизма и былого величия, мученичества и жертвенности, виктимизации и преодоления травмы. Это – история расширения прав и возможностей народа, реализации идеалов народного суверенитета. В то время, как в одних случаях национальная история рассматривается как развитие, направленное к реализации, в других она представляется как упадок и вырождение в сторону от надлежащего развития. За пределами специфических нарративов конкретных на-

²³ Ср.: «Даже при самом беглом исследовании можно легко установить, что многие из давно ушедших государств или обществ, за которые ухватились современные националисты в своем стремлении к исторической легитимности, на самом деле имеют мало или вообще ничего общего в культурном, демографическом или лингвистическом отношении со своими потенциальными историческими потомками. Такие ложные претензии на непрерывную цепь исторической преемственности, где нет никакой очевидной связи, называются формой «примордиализма» – одной из наиболее распространенных черт национализма и одной из наиболее легко высмеиваемых» (Roshwald 2006, p. 2).

ций существует метанарратив или дискурс нации, совокупность идей и представлений, которые окружали означаемое «нация» в наше время (примерно после 1750 года) [Suny 2001, 870].

Однако такой временной порог не может быть абсолютизирован. Конечно, понятие «нация», сформировавшееся в новейшее время, сильно отличается от своего предыдущего «означающего». Тем не менее, аналогии современной концепции нации можно найти как в «Историях», созданных в древности, так и в Средневековье:

Национальные истории были написаны гораздо раньше, и в некоторых частях Европы их действительно можно проследить до Средневековья. Многие тропы, образы и сюжетные линии, характерные для современной национальной истории, в равной степени можно найти и в их ранних вариантах. Важные дебаты в исторической лингвистике, истории литературы и культуры выдвинули на передний план подобный «национализм до национализма» [Бергер 2015, 6].

... не имеет смысла настаивать на непроницаемых границах, отделяющих раннюю современную национальную историю от новейшей, и именно по этой причине в начале следующей главы мы начинаем с раздела, прослеживающего их долгую историю от Средневековья до наступления Нового времени [Berger 2015, 13].

Тем не менее, ведущие эксперты оговаривают, что сходство отдельных элементов не должно заслонять глубокие различия, обусловленные диахроническим контекстом [Roshwald 2006, p. 5]. Имея в виду эту оговорку, мы, тем не менее, хотим показать, что ситуация может оказаться иной, если мы обратимся от контекстов к текстам, от обстоятельств повествования к его содержанию и механизмам. В этом случае можно выявить соответствия между целостной системой повествования как сотворением отечественной истории.

Поэтому может показаться странным, что лишь в последнее время появляются точки соприкосновения между описанным выше конструктивистским подходом и другим влиятельным направлением в философии истории – так называемым «нарратологическим направлением» (иногда

его обозначают терминами *лингвистический поворот, дискурсивный поворот, постмодернистская философия истории*). Это направление активно развивается с 70-х годов [White 1973, 1987; Barth, 1981; Ankersmit 1983; Domanska 1998]. Оно также опирается на методологию конструктивизма и рассматривает нарративные и текстуальные стратегии – как основные факторы создания, репрезентации и интерпретации исторических текстов. Однако теоретики конструктивизма, как правило, не принимали во внимание основные понятия своих коллег-нарратологов. Как недавно это признали сами его видные представители,

Мы наблюдали заметный дисбаланс между широкими теоретическими дискуссиями об истории и нарративе, с одной стороны, и весьма ограниченным числом эмпирических попыток анализа нарративных стратегий историков, с другой. Теперь пришло время проверить, насколько далеко заходят теоретические утверждения о нарративе в истории – особенно те, которые сформулированы Уайтом, такие как конструирование временного начала, середины и конца, конструирование сюжета, а также претензии пост-нарративной теории относительно истинности и объективности [Lorenz, Berger 2021, с. 334].

Не очевидно, какие модели и стратегии исторического нарратива являются базовыми и универсальными. Так, в [Lorenz, Berger 2021, 334–341] в дополнение к заимствованным у нарратологов было добавлено еще семь новых характеристик. Этот список может быть дополнен в результате изучения новых случаев. Тем не менее, все особенности можно рассматривать как конкретизацию общего принципа:

Исторический нарратив привязан к медиуму памяти. Она мобилизует опыт прошедшего времени, который запечатлен в архивах памяти, так что переживание настоящего времени становится понятным и возможным ожидание будущего времени [Rüsen 2005, 11].

Этот общий принцип может быть выражен в различных формах и представлен в различных текстах и контекстах. Каждый из этих случаев обязательно приводит к существенному уточнению общей модели. Мы намерены продемонстрировать это на примере «Истории Армении» Мов-

сеса Хоренаци. Что придает этому тексту особое значение как объекту изучения, так это то, что «История» демонстрирует, что не только отдельные элементы, но и целостные, системные практики-наррации как нациестроительства, о которых говорят современные теоретики конструктивизма, появились гораздо раньше 1750 года. По крайней мере, армянская средневековая историография демонстрирует, что уже в раннем Средневековье можно найти подобный случай создания национальной истории при использовании сопоставимых механизмов. Не оспаривая связь подобных нарративных практик с политическим контекстом нового времени формирования национальных государств, мы намерены продемонстрировать, что в древности можно обнаружить нарративные и текстуальные аналогии этих практик. При всех своих особенностях рассматриваемый нами случай, в целом, совпадает с нарративными практиками и стратегиями Нового времени. Историограф Мовсес Хоренаци, к «Истории» которой мы намерены обратиться, прямо заявил о своей цели – реконструировать историю Армении и армян с самого начала и легитимизировать существование нации (см. ниже). Объект нашего исследования позволяет выявить как общие характеристики исторического дискурса, так и его индивидуальные особенности. При этом особенности могут быть отнесены к контексту создания этого текста, в то время как общие характеристики детерминированы механизмами текстуализации.

3.2. Слагая прошлое: Мовсес Хоренаци и его «История»

3.2.1. «История» как «свидетельство о рождении»

«История Армении» Мовсеса Хоренаци – уникальный случай творения истории, ее текстуализации и, одновременно, рефлексия над этим процессом. Армянская историография представляет в этом отношении примечательный, если не уникальный случай. Ряд ее памятников позволяют зримо увидеть рождение истории из различного рода неисторических текстов (устной истории, мифов, легенд, песен). Первые исторические памятники появляются только в V веке, несмотря на значительный

предшествующий период существования армянского государства (по различным оценкам – от III или IV тысячелетия до нашей эры). Первые «Истории» описывают наиболее значительное, с точки зрения христианской истории события – принятие армянами христианства (Агатангелос); текущую борьбу с зороастрийским Ираном за сохранение христианской веры (Егише, Казар Парпеци), а также происходящие события, часто основанные на устных нарративах (Фавстос Бюзанд). Во всех этих текстах авторы выступают как очевидцы, или даже участники описываемых событий. Однако только Мовсес Хоренаци поднимает вопрос об истории Армении в качестве целостной истории в ее связи с мировой историей, синхронизируя ее с наиболее влиятельной версией того времени, изложенной в Библии²⁴.

Приведем свидетельство академика Ст. Малхасянца, в обобщенном виде представляющую принятую точку зрения:

Хоренаци был первым, кто написал систематическую историю армянского народа от начала до своего времени... Это было свидетельством о рождении для нашего народа, который до того не знал, кто он такой и каково его происхождение. Связав происхождение армянской нации с Библией, породив армян из рода Яфета, он создал для армянской нации почетное место в ряду других древних народов [Малхасян 1997, 33].

Именно поэтому в армянской традиции Мовсес Хоренаци считается наиболее авторитетным автором, его почтительно называют *Отцом истории* (*Պատմիչիւր*), а также *Отцом сочинителей* (*создателей*) (*Քերթնիչիւր*). Это, кстати, показывает, что сочинитель и историк, как и предполагал Аристотель, могут быть совмещены в одном лице. Современные исследователи, уже с новых методологических позиций, подтверждают подобную характеристику:

²⁴ Мы оставляем за скобками дискуссию о датировке создания «Истории» и принимаем наиболее распространенную армянскую точку зрения, согласно которой она была создана в V веке, но в то же время содержит интерполяции более поздних времен (см.: Малхасян 1997). Полноценное представление противоположной точки зрения можно найти в (Thomson, 1978). Для нас наиболее существенно то, что вся дальнейшая армянская историография базируется на метанарративе, созданном Мовсесом.

В наборе характеристик, которыми оперируют конструктивисты, как известно, история – одна из важнейших. В нашем случае такая роль выпала «Истории» Хоренаци. Это сочинение стало моделью, которой руководствовались последующие историки, а за Хоренаци утвердилось в настоящее время имя «отца армянской истории», поскольку его труд, в отличие от историографических сочинений того периода, давал целостную картину истории армян и Армении от начала времен до его времени [Абрамян 2011, 106].

Не были оставлены без внимания и нарративные аспекты. Критический анализ источников «Истории» непосредственно выявил ее связь с механизмами и текстами культурной памяти. При этом сходство наррации «Истории» с дискурсивными практиками конструктивизма было выявлено намного раньше самого конструктивизма. Так, еще в XIX веке (Мкртич (Никита) Эмин (1881) показал, что описание древней и средней Истории Армении (см. ниже) произведено на основании не иноязычных письменных источников, а армянского эпоса, дошедшего до нас благодаря Мовсесу Хоренаци. Эта точка зрения укоренилась в арменистике, и история древнеармянской литературы дописьменного периода основывается почти исключительно на преданиях, изложенных Хоренаци [Абегян 1948].

С точки зрения описания техники наррации и выявления интертекстуальных связей крайне интересно исследование Григория Халатьянца (1896). Оно посвящено критике источников Хоренаци. В результате этого анализа Хоренаци представлен не как историк, излагающий известные ему факты, а как писатель, использующий техники мифопоэтического письма XX века. Халатьянец считает, что автор «Истории» – искусный мистификатор, писатель конца VIII-го – начало IX-го века, который действует как поэт-мифотворец: он на основе книжных источников и достаточно вольных этимологий, преимущественно связанных с топонимами, сам сочиняет народные легенды и песни, а затем, используя эвгемерический метод аллегорического толкования, на основе им же сочиненных легенд «реконструирует» исторические события²⁵. Тем самым Хала-

²⁵ Ср.: «Аллегория у Хоренаци – это искусственная верификация легенды, внесенная самим историком, в подражание высоко ценимым им греческим мифам... Гохтанские же певцы нужны были историку, чтобы в их уста вложить собственные толкования, в качестве аллегории» (Халатьянец 1896, с. 321).

тьянц в своем подходе, впоследствии названном гипер-критицизмом, по сути, описал технику, которую можно охарактеризовать как гипер-конструктивизм. Оставляя в стороне текстологические и историографические аспекты, заметим, что эти и подобные им исследования источников и реминисценций, хотя и не ставя подобной задачи, выявили связь между механизмами наррации, с одной стороны, и конструирования исторической памяти, с другой, продемонстрировав возможность конструктивизма как техники наррации до появления конструктивизма в качестве социальной теории. Если говорить об исследованиях последнего времени, то в них объектом исследования становятся уже сами модусы толкования и наррации. Так, исследования Ромика Кочаряна посвящены герменевтике «Истории» [Kocharyan 2016]. Особо следует отметить цикл статей Альберта Степаняна, собранных воедино в [Stepanyan 2021], где как одна из целей, намечается рассматривать «Историю» «как нарративное единство (систему) и, тем самым, попытаться вскрыть ее глубинные семантические и семиотические пласты» [Stepanyan 2021, с. 22].

Первая систематическая история Армении призвана раскрыть происхождение армян и создать нарратив, позволяющий проследить историю армянских царей и князей и сопоставить их с данными Ветхого Завета. «История» состоит из трех частей – из начальной, легендарной генеалогии армян, Средней истории Армении и завершения армянской истории. В предисловии Мовсес обращается к своему покровителю – князю Багратуни. Он хвалит своего патрона за его инициативу и осуждает предыдущих царей и князей за то, что ни один из них не оставил письменных свидетельств. Здесь же он формулирует цель своего труда:

Не хочу оставить без упоминания и порицания нелюбопытный нрав древних наших предков, но здесь же, в начале нашего предприятия, произнесу по их поводу слова осуждения... Но я поражаюсь плодovitости твоего ума; от начальных наших родов и до нынешних ты оказался единственным, способным предпринять столь важное дело и предложить нам взяться за исследование – в большом и полезном труде достоверно изложить историю нашего народа, (рассказать) о царях и нахарарских родах и домах, об их происхождении, о деяниях каждого из них, о том, какие из получив-

ших известность родов местные, нашего племени, а какие – пришлые, укоренившиеся здесь и слившиеся с нашим племенем, (словом), описать все времена и события от поры беспорядочного столпотворения до нынешнего дня [1,3].²⁶

«История» Хоренаци состоит из трех частей. Различие между первыми двумя и третьей частью хорошо укладывается в предложенное Ассманом разграничение между культурной памятью, отсылающей к институциональным текстам и артефактам, и памятью коммуникативной, основанной на свидетельствах очевидцев²⁷. С точки зрения исторической глубины описываемых событий, первые две части относятся к культурной памяти, поскольку описываемые события отстоят от Хоренаци на тысячелетия (первая часть) и столетия (вторая часть), тогда как третья – начинается с момента принятия христианства – начало IV-го века, от которого Мовсеса отделяют сто пятьдесят лет. Первая часть представляет дошедшую посредством устных сказаний и песен мифологическую историю Армении. При этом Библия становится концептуальной основой, которая объясняет как появление армян и Армении, так и прекращение армянского царства. Следуя Библии, Хоренаци увязывает разделение человеческого рода с Вавилонским столпотворением. Соответственно, в начале «Истории» описано происхождение армян в Вавилоне и их исход, а также борьбу с языческими правителями. Вторая представляет сочетание эпоса и определенных исторических данных, когда исторические личнос-

²⁶ Цитаты приводятся по переводу академика Гагика Сарксяна (Хоренаци 1990) с указанием части и главы.

²⁷ Ср.: «Коммуникативная память охватывает воспоминания, которые связаны с недавним прошлым. Это – те воспоминания, которые человек разделяет со своим и современниками. Типичный случай – память поколения. Ее группа приобретает исторически. Эта память возникает во времени и проходит вместе с ним, точнее, со своим и носителями... Культурная память, в отличие от коммуникативной, есть дело мнемотехники, для которой в обществе существуют специальные институты. Культурная память направлена на фиксированные моменты в прошлом. В ней прошлое также не может сохраняться как таковое. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к которым прикрепляется воспоминание... Мифы также суть фигуры воспоминания. В этом миф и история не отличаются друг от друга. Для культурной памяти важна не фактическая, а воссозданная в воспоминании история, и только она. В культурной памяти фактическая история преобразуется в воссозданную воспоминанием, то есть в миф. Миф – это обосновывающая история, историю, которую рассказывают, чтобы объяснить настоящее из его происхождения» (Ассман 2004, сс. 53–55).

ти выступают как эпические герои. Вторая часть также является эпическим повествованием, а Хоренаци воспроизводит фольклорные модели, хотя упоминает имена реальных царей. Третья часть посвящена описанию событий, произошедших после принятия христианства (301г. н.э.) – вплоть до гибели армянского царства, о чем историограф мог иметь достоверные сведения. Новейшая для него история предстает как описание перманентных столкновений между царями и князьями, постоянного предательства, нежелания следовать советам армянских святых патриархов (Григория, Нерсеса, Саака), восстановление языческих обычаев. Древнеармянское «Միշինարանի Հայր» допускает двоякое толкование, и эта двойственность не только лингвистическая, но и содержательная: первые две части – это, скорее, *история армян*, наиболее видных вождей и царей, тогда как третья часть – это *история Армении*, армянского царства в один из его наиболее драматических периодов. Историограф располагал достоверными сведениями об этих событиях и, обращаясь к своему патрону, специально упомянул об этом во вступлении к третьей части. Это вступление особо показательно; в само-описании содержания трех частей (Книг) можно увидеть разграничение между различными типами исторической памяти:

Записи о древности в нашей стране не велись, и из-за краткости времени нет возможности пройти по всем греческим (трудам). Впрочем, мы, насколько хватило радения и памяти, достоверно рассказали о весьма ранних и отдаленных временах, начиная с Александра Великого и вплоть до кончины святого Трдата. Поэтому ты не будешь стыдить нас и ругать, ибо теперь я расскажу тебе без ошибок все случившееся в наше время или немного раньше, изложив в Третьей книге то, что (произошло) после святого Трдата и до отрешения рода Аршакуни от царствования и семени святого Григора от первосвященничества [3,1].

Первая часть основана на иноязычных (в первую очередь – греческих) источниках, вторая – *на памяти и радении*; в третьей, описывающей *все случившееся в наше время или немного раньше*, сам Мовсес выступает как очевидец и источник сведений.

3.2.2. Открывая нацию

История Армении, согласно Хоренаци, предстает как текст, который имеет начало и конец. Начало задано метанарративом, Священной историей,

Начну же я с того, с чего начинают другие, пребывающие в лоне церкви и во Христовой вере, считая лишним повторять легенды языческих писателей о начале и (прибегая к ним) лишь для последующего – для известных времен и мужей, в отношении которых с ними сходится и Святое Писание, пока неизбежно не доберемся до языческих историй; но и из них мы позаимствуем лишь то, что сочтем достоверным. [1, 3].

Ре-(конструкция) истории Армении осуществляется как развертывание текста и комментируется в самом тексте. Выделение и описание произошедших событий подчинено идеологическому каркасу, заданному в предисловии:

Ибо хотя мы и небольшая грядка, и числом очень ограничены, и обделены могуществом, и многократно бывали покорены другими государствами, но ведь и в нашей стране свершено много подвигов мужества, достойных быть письменно увековеченными, которые, однако, никто из них (прежних царей и князей) не позаботился записать в книги [1,3].

Отсутствие письменных армянских источников Мовсес Хоренаци старается компенсировать обращением к иноязычным работам (греческим, ассирийским, еврейским), но это могло помочь лишь отчасти. Поэтому Хоренаци при подчеркнутом недоверии к фольклору при описании далекого прошлого вынужден основываться на устных преданиях. Безусловно, историческая память о событиях полутора или двухтысячелетней давности принимала форму мифологизированных преданий, или же эпоса. Рефлексия над собственным творчеством находит отражение в самом тексте, когда Хоренаци размышляет о достоверности тех или иных све-

дений. Конструирование национальной истории осуществляется непосредственно в тексте – Хоренаци обсуждает различные версии и обосновывает свой выбор того, что он считает достоверным. Логично, что начальная история Армении предстает как эпос, в котором герои-прародители защищают свой род, строят города, заботятся о народе и т.д. Героем прародителем оказывается Айк, который ушел от злого великана Бела из Вавилона в Арарат – Хоренаци сохраняет имя вавилонского верховного божества, хотя, одновременно, идентифицирует его с упоминаемым в Библии царем Немродом. Бел пытается силой вернуть Айка и его род в Вавилон. Однако в битве с Белом Айк побеждает Бела и основывает Армению (Хайк):

Страна же наша, по имени нашего предка, называется Хайкх
[1,11].

История Армении, по мнению Хоренаци, предстает как текст, имеющий начало и конец. Современный ему период падения Армянского царства и патриархата описывается как конец истории. Контекст написания (времена упадка Армянского царства) предопределяет повествовательную схему («потерянный рай») и трагический пафос. «История» заканчивается Плачем. Окончание повествования знаменует собой конец истории:

Но да остановится здесь мое слово, утомленное тем, что было обращено к ушам мертвецов [2, 92]²⁸.

Третья, последняя глава, заглавие которой можно перевести как «-Конец истории» (в переводе Г. Саргсяна: «*Заключение истории нашего отечества*», буквально – завершающая речь, эпилог). Современный Хоренаци период, падение Армянского царства и патриархата, есть и конец истории, и эпилог книги (читатели «Истории» не задавались вопросом, принадлежит это заглавие самому Мовсесу или же было добавлены позднейшими переписчиками).

²⁸ В переводе Томсона: But here let this discourse cease, as [I am] weary of speaking to the ears of the dead". (Khorenatsi 1978, p. 253).

3.2.3. Построение нарратива: Хоренаци о своих источниках

Как бы разграничивая функции писателя и историка, Хоренаци выдвигает «правдивость повествования» в качестве основного критерия, согласно которому должен оцениваться его труд:

Изложу я эту историю общедоступным языком, чтобы люди как можно чаще и без усталы брались за чтение истории нашего отечества, привлеченные не красноречием наших слов, а правдивостью нашего повествования [3,1].

Рефлексия над своим повествованием, размышления о достоверности источников и пределах своего права на их редактирование и интерпретацию отражены в самом тексте. Хоренаци начинает с того, что констатирует драматизм ситуации, в которой оказался историограф: прежние цари и князья не оставили каких-либо записей даже о собственных деяниях, не говоря уже о своих предшественниках:

...всем нам известно невежество наших царей и прочих предков в науках и незрелость их разума. Итак, если они не подумали даже о собственной пользе и не оставили миру памяти о самих себе, то есть ли нам смысл обвинять их и предъявлять им еще большие требования – (почему они не сделали этого) и в отношении прошлого? [1,3].

Как постоянно подчеркивает Хоренаци, его повествование достоверно: оно основано на фактах. Но эти факты могут быть основаны на записях, которые «нелюбознательные» предки не удосужились после себя оставить. Поэтому Хоренаци вынужден основываться на иноязычных источниках, а вопрос достоверности ставится в зависимость от их авторитетности. Обращаясь к своему заказчику, князю Смбаду Багратуни, Хоренаци ясно формулирует проблему и свой подход к ней:

Итак, приступая, изложу тебе нашу (историю), указывая, откуда (берутся сведения) и как (она протекала)... Общеизвестно, что определение времен от начала до нас, особенно же – определение (рядов) потомков нахарарских родов трех сыновей Ноя являет-

ся труднодостижимым и тяжким (делом), если к тому же пытаться рассмотреть их по отдельным векам. И, тем более, потому, что Божественное Писание, выделив свой собственный народ, отвергло прочие как презренные и недостойные упоминания на его страницах. Мы расскажем, начиная с них, в меру наших возможностей, то достоверное, что мы нашли в древних историях, с нашей точки зрения совершенно правдивых [1,5].

Осознавая все сложности, Хоренаци, однако, уверен в том, что все надлежащие сведения можно найти в архивах, надо только знать, где именно искать. Хоренаци эти архивы известны, это, с одной стороны, Ниневийский архив, с другой – архив Эдессы (Урхи) . Тем самым, реконструкция прошлого – задача решаемая, необходимо найти и перевести эти записи, а трудности носят скорее технический характер:

Начинаем повествовать тебе из пятой книги летописца Африкана (сведения), которого подтверждают Иосиф и Ипполит и многие другие из греков. Ибо он полностью переложил все, относящееся к нашим царям в свитках архива Эдессы, то есть Урхи, каковые книги были перенесены сюда из Мцбина, и в храмовых историях из Синопы Понтийской. Пусть никто не сомневается, ибо мы сами воочию видели этот архив, а, кроме того, тебе в этом может непосредственно быть порукой книга Евсевия Кесарийского «Экклесиастика», которую блаженный наш учитель Маштоц велел перевести на армянский язык. Если поищешь в Геларкуни, в области Сюник, то найдешь в тринадцатой главе первой книги свидетельство о том, что в эдесском архиве хранится (история) всех деяний наших прежних царей вплоть до Абгара и от Абгара вплоть до Брванда. Полагаю, что она сохраняется в том же городе [2,10].

Из-за краткости времени нет возможности пройти по всем греческим (трудам); нет под рукой и сочинений Диодора, дабы, придерживаясь его, мы без пропусков поведали главное и не осталось бы позабытым нами что-либо важное и полезное, достойное упоминания в нашей истории [3,1].

Обоснование достоверности того или иного сведения происходит путем указания на источник, поэтому в «Истории» много внимания уде-

лено обсуждению достоверности информации тех или иных иноязычных источников. Так, этому целиком посвящена вторая глава части I, которая так и называется: «*О том, почему мы предпочли обратиться к греческим (источникам), хотя нашу историю легче вывести из халдейских и ассирийских книг*». Это вытекает из его грекофильских взглядов, о которых он прямо заявляет своему покровителю, который, как видно из многочисленных упреков Мовсеса Хоренаци, предпочитал иранские мифы²⁹:

Поэтому я не устану называть всю Грецию матерью и кормилицей наук. Сказанного достаточно, чтобы убедиться в необходимости для нас обращения к греческим историкам [1,2].

Однако «правдивость», верификация исторического повествования может быть достигнута путем указания на источники, признаваемые достоверными, тогда как применительно к истории Армении таковые отсутствуют. Тем самым встает проблема – как может быть написана история, если отсутствуют свидетельства очевидцев? Мовсес Хоренаци пытается восполнить отсутствие письменных армянских источников, обращаясь к трудам не только греческих, но и сирийских и иудейских авторов, но и это может помочь лишь частично. Размышления о собственных

²⁹ В знак протеста против требований патрона, Хоренаци не включает пересказ иранских мифов в Первую книгу, а помещает их в ее конце, как бы за текстом – со следующим комментарием, свидетельствующим о культурной пропасти, разделявших князя и летописца, и, видимо, современное ему армянское общество в целом: «Что за (странное) влечение у тебя к мерзостным и нелепым легендам о Бюраспи Аждахаке [?]. Или ради чего ты занимаешь нас несуразными и нескладными персидскими былинами, а лучше сказать – небылицами... Что за нужда тебе в этих вздорных легендах, или же на что тебе эти бессмысленные и бездарные словосочетания? Разве это греческие легенды, изящные, гладкие и осмысленные, в коих под иносказаниями кроется истина? Но ты велишь объяснить их бессмысленность и придать образ безобразному. Скажу тебе снова: что за нужда тебе в них? И что за охота – желать нежелательное и прибавлять нам работы? Но мы приписываем это влечение молодости твоих лет и недостаточной зрелости, и потому да будет исполнено и это желание твоего сердца. Ибо сверх всего им самим непонятные, вкладывая смысл в их бессмысленность, лишь бы это поскольку сегодня собственной рукой излагаю их ненавистные мне слова и дела, даже звук которых был противен моим ушам; – передаю их стародавние сказы, им самим непонятные, вкладывая смысл в их бессмысленность, лишь бы это доставило тебе удовольствие или пользу. Но оцени меру нашего отвращения к этим словесам (по тому), что мы не удостоили включить упомянутые легенды ни в Первую изложенную нами книгу, ни в заключительную главу, а (приводим их) отдельно и обособленно».

творческих интерпретациях и их границах отражаются в тексте, когда Хоренаци рассуждает о достоверности информации из тех или иных источников. Поскольку нет возможности какой-либо иной проверки, наличие письменных сведений оказывается единственным критерием достоверности, хотя и здесь нет уверенности, что эти сведения в процессе передачи не подверглись искажению:

Я в немногих словах упомяну мнения, изложенные древними повествователями по поводу представленного нами выше, хотя и не могу здесь сказать, нашли ли они все в таком виде в царских книжных хранилищах или же каждый изменил имена, (содержание) рассказов и время по собственному усмотрению, либо же по каким-либо другим причинам [1,6].

Повествование постоянно дополняется обсуждением источников, поскольку главный критерий, из которого исходит Мовсес, – достоверность его повествования, о чем он постоянно напоминает:

Мы же поведаем только то, что точно известно, историю, придерживающуюся правды [2,70].

В некоторых случаях Мовсес, добиваясь достоверности повествования, считает нужным противоречить указаниям своего покровителя:

По этим-то причинам мы поведем рассказ не о родах, учрежденных Тиграном Последним, как бы действительно ты ни просил нас об этом, а лишь о достоверно известных нам последующих. Ибо мы сколь возможно избегали излишних речей и прикрас и всего того, что придавало бы словам и мыслям неточность, и по мере сил следовали как в заимствуемом, так и в собственном только справедливому и истинному. Так же поступаю и здесь, удерживаясь от потока неуместных слов и от того, что может породить неправильные мнения. А тебя умоляю и теперь, как уже делал многократно, – не принуждай нас к излишнему и к тому, что скудостью или чрезмерностью слов может обратить весь наш большой и достоверный труд в напрасный и ненужный, ибо это нанесло бы вред равным образом и мне, и тебе [2,64].

Однако из-за недостатка письменных сведений историограф был вынужден прибегнуть также и к мифам и легендам. Несмотря на его подчеркнутое недоверие к фольклору, Хоренаци при описании далекого прошлого опирается на устные предания. Разумеется, историческая память о событиях, происходивших полторы-две тысячи лет назад, принимала форму мифологизированных легенд или эпоса. Хоренаци считает нужным сделать особую оговорку, снимая с себя ответственность за достоверность сообщаемого:

Но чаще сказывают все это старцы из Арамова племени на память в сопровождении игры на пандирне в песнях с представлениями и танцами. Ложь или правда в этих преданиях – нам до этого дела нет. Ведь я в этой книге привожу полностью все: и то, что слышит ухо, и то, что написано в книгах, дабы ты знал все и убедился в чистоте моих побуждений в отношении тебя [1,6].

Как видим, первая и вторая части «Истории» отличаются от третьей не только описываемым временем, но и модусом повествования. В третьей части Мовсес рассказывает то, что знает, в основном это речь от первого лица. Что касается первого и второго, то это косвенная речь, пересказ письменных и устных источников, данные которых лишь изредка поддаются проверке³⁰.

3.2.4. Метанарратив в нарративе

В своем повествовании Хоренаци комбинирует разные концептуальные фреймы. Одним из них является эллинистическая традиция с ее культом героев, поэтому одним из самых почетных эпитетов у него является сравнение выдающихся армян с Ахиллом и другими героями греческого эпоса:

³⁰ Мы оставляем в стороне вопрос об адекватности комментариев Хоренаци; он, как показали критики его текста, не всегда указывает свои источники, а в ряде случаев видоизменяет их. Полный обзор критического анализа источников Хоренаци дан в: (Thomson 1978).

Трдат, поднявшись на ноги и действуя вазой для цветов как оружием, сгоняет сотрапезников с их кресел. Зрелище напоминало истребление поклонников Пенелопы неким новым Одиссеем или борьбу лапифов с кентаврами на свадьбе Перифоя [2,63].

Он (царь Аршак) внешне выглядел отважнее и храбрее Ахилла, а на деле походил на хромого и остроголового Терсита. Он бунтовал против своих сюзеренов, пока не получил воздаяние за надменность [3,19].

Однако греческая мифология используется, скорее, как художественное обрамление повествования. Что касается содержательного метанарратива, то в этом отношении Хоренаци является хранителем христианского мировоззрения. Ключевой для него является идея возмездия за совершенные проступки и грехи. В целом, происходящее основано, по мнению Хоренаци, на некоем равновесии между *миром* и *смутами*:

Шапух вновь был потревожен теми же народами, а мир переместился в Грецию, согласно правилу, что (явления), изменяясь, меняются местами: миру у этих (соответствуют) смуты у тех и миру у тех – смуты у этих; конец одного служит началом другому [3,29].

Соответственно, совершенное зло не должно оставаться безнаказанным, поэтому используются аналогии с библейскими пророками, которые объясняли историю как проявление Божественного наказания³¹:

Мы находим в божественных историях, что у еврейского народа после судий, во времена безвластия и смут, не было царя и

³¹ Уместно привести мысль Юрия Лотмана о том, как модус исторического повествования приводит к осмыслению случайных событий как предопределенных: «Историк... строит последовательную линию, ведущую с максимальной достоверностью к этому решающему пункту. Этот момент, в основе которого лежит элемент случайности, прикрытый целым пластом произвольных допущений и квазиубедительных элементов причинно-следственной связи, приобретает под легким прикосновением историка почти мистический характер. В этом мы видим празднование божественного или исторического предопределения, несущее в себе концепцию, поддерживаемую всеми предыдущими процессами» (Лотман 1992, 33–34).

каждый делал, что ему было угодно [Судей 21:24]; то же самое наблюдалось и в нашей стране [3,4].

Мысль о неотвратимости наказания за грехи, совершенные царями и князьями, становится главным объяснением событий, приведших к падению Армянского царства. Хоренаци прямо указывает на Библию как на источник своих стенаний и обвинений: это относится и к идеологии, и к стилю, и к лексике ее текста. Цитаты должны подтверждать божественный авторитет его критики:

Поэтому я, оплакивая своих, скажу, как сказал Павел о своих и о врагах креста Христова, но скажу не собственными, но Святого Духа словами. Род ущербный и огорчающий, род неустроенный сердцем и неверный Богу духом своим! Мужи Арамовы! Доколе быть вам жестокосердными, зачем вы полюбили суету и безбожие? Не постигаете ли вы, что Господь возвеличил своего святого и что Господь не услышит, когда вы воззовете к нему? Ибо вы ожесточились в грехопадении и на ложах своих не раскаиваетесь, ибо приносите незаконные жертвы, а уповающих на Бога презираете. Поэтому встретится вам капкан, который вы не распознаете, и попадете в этот капкан и зверь, на которого вы будете охотиться, – схватит вас [2, 92].

Отдельной заключительной главой книги является его «Плач по поводу утраты Армянского царства» [3,68]. Падение царства и патриархата является следствием общей безнравственности, охватившей все слои армянского общества – от царей, князей и священников до простолюдинов. Библия становится понятийной основой, объясняющей как возникновение армян и Армении, так и прекращение Армянского царства, она позволяет связать героическое начало армянской истории и ее столь бесславный трагический конец. Поэтому слово библейских пророков должно быть наиболее адекватным описанием происходящих событий:

Кто, разделив нашу печаль, примкнет к нам в речениях обо всем этом и, сострадая, поможет рассказать или начертать на

камне? Восстань Иеремия, восстань, плачь и пророчествуй о бедствиях, которые постигли нас и которые еще предстоят нам! Предскажи появление невежественных пастырей, как некогда Захария [Зах. 11:16] для Израиля! [3, 68].

Семантика и стиль библейских пророков становятся основой для описания конца армянской истории:

Что же служит пеней за все это, как не пренебрежение со стороны Бога и изменение стихиями своих свойств? Засушливая весна, дождливое лето, морозная осень, суровая, вьюжная, нескончаемая зима, бурные, знойные, тлетворные ветры, грозовые, градоносные тучи, несвоевременные, бесполезные дожди, холодный, леденящий воздух, бесплодная прибыль и чрезмерная убыль вод, оскудени плодов земли и убывание скота, к тому же еще трясения и колебания (земли). Сверх всего этого – смуты со всех сторон, согласно сказанному, что «нет мира нечестивцам [Исайя. 57: 21]. Ибо властвующие цари – жестокие и злобные, налагающие тяжкое бремя и издающие невыносимые приказы; управители – немиротворящие, безжалостные; друзья – изменившие, я враги – обретшие могущество; вера – проданная за суетную жизнь [3, 68].

В свете вышеизложенного мы хотели бы оспорить точку зрения Томсона:

Что примечательно в эксплицитной философии истории Моисея, поддерживаемой большей частью его повествования, так это отсутствие дидактического или морального отношения к урокам, которые можно извлечь из истории. В отличие от большинства армянских историков, Моисей не рассматривает историческое повествование как эссе о путях Божьих к людям. Он не отрицает общего провидения и цели Бога или Его призрения применительно к конкретным историческим событиям, но он не извлекает уроков нравственного поведения [Thomson 1978, с. 9].

Это звучит довольно странно – как видно из цитат, мысль о неотвратимости Божественного наказания за совершенные преступления выражена с предельной эксплицитностью. По мнению Хоренаци, это определяет не только судьбу Армянского царства, но и служит объяснением многим эпизодам новейшей истории³². Эта идея становится объяснительным ядром, благодаря ей разрозненные события текущего (для Хоренаци) периода приобретают целостность. В целом, мы видим, что действуют принципы текстуализации, т.е. представление единичных и случайных событий в виде регулярных и детерминированных паттернов. Помимо временных операторов, определяющих хронологию событий (ср.: *«Без хронологии нет подлинной истории»* – 2, 82), Хоренаци вводит и эпистемические – это оценка существующих до него нарративов с точки зрения их достоверности, и деонтические – оценку самих событий с точки зрения христианских моральных норм или воинской этики. Начало и конец истории Армении – победа легендарного армянского вождя Айка и падение Армянского царства – создают сюжетную ось повествования и определяют его смысловые координаты. Различные нарративы, заимствованные из разнородных источников, объединяются в один целостный нарратив о рождении и гибели нации. Целостность и связность этого нарратива определили его дальнейшую жизнь в армянской культуре – со времен Средневековья он служил метанарративом для последующей истории Армении, создавая устойчивую смысловую оппозицию между героическим легендарным прошлым и бесславным трагическим настоящим.

³² Приведем без комментариев несколько примеров: «Услышав это, Тиран, потерявши рассудок, отправился к нему, ибо преступление влекло его к месту расплаты. Шапух же, увидев его, стал порицать его перед лицом своих воинов и лишил его зрения, как это в древности случилось с Седекией» (ср. 4 Цар 25:7); «Верно, это было отмщением за святого мужа, который просвещал нашу страну, будучи, по Евангельскому слову, светом мира (Иоанна 8:12), коего Тиран лишил Армении и сам погрузился во мрак, процарствовав одиннадцать лет» (3,17); «Так, согласно проклятию Нерсеса, была взыскана невинная кровь Гнела с бесчестного Тирита, как и с Вардана (которому довелось), умереть от руки родного брата» (3, 25); «Но его дед Тиран направил своему сыну Аршаку суровые порицания, за что по тайному приказу царя был задушен своими же постельничими и похоронен в том же аване Куаше, не удостоившись усыпальницы своих отцов. Верно, воздалось ему за мужа Божьего Даниела; какой мерой он мерил, такой и отмерено было ему, согласно Писанию» (3, 22); «Но хотя они и не могли овладеть неприступной крепостью, однако гнев Божий тяготел над Аршаком и защитники крепости, не согласившись дожидаться вестей от Папа, добровольно, без принуждения, сдались» (3, 35).

3.2.5. Заклучая Историю

Мы рассмотрели вопросы, связанные с нарративными практиками конструирования нации, с одной стороны, и семантическую организацию текста «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци, с другой. Наше исследование помогло выявить связь между этими разнородными явлениями. Можно утверждать, что нарративные практики нациостроительства зависят не только от политического и социального контекста Нового времени, но и могут быть осуществлены и при иных обстоятельствах. Рассматриваемый нами случай представляет особый интерес, поскольку позволяет проследить сам процесс создания национальной истории, который осуществляется именно как сознательный акт: историограф явным образом декларирует свои цели и способы их достижения, обсуждает свою практику работы с доступными источниками и включает эти метатексты в свое повествование.

При этом, несмотря на значимые отличия контекстов раннего Средневековья и Нового времени, основные структурно-семантические характеристики исторических нарративов оказываются наиболее устойчивыми и воспроизводятся аналогичным образом в различных контекстах. Манифестацию этого процесса можно увидеть при анализе «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци. Модальные характеристики, как это было показано Аристотелем, одновременно и объединяют, и разграничивают литературные и исторические нарративы. При этом действует логика текстуализации, обеспечивающая цельность и связность повествования. В то же время сама история предстает как текст, определяемый своими ключевыми смысловыми точками – началом и концом. Осмысленность истории предстает как целостность текста, задаваемая основными идеологическими схемами (мета-нарративами). Текстуально История конструируется как компиляция из различных текстов. События подчинены сюжетной логике, определяемой заимствуемыми из Библии паттернами, а сам конец повествования синхронизирован с концом Истории.

ГЛАВА IV.

ГЛУБИННО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭПОСА «ДАВИД САСУНСКИЙ»

4.1. Армянский героический эпос «Давид Сасунский» и его современные осмысления.

Армянский героический эпос «Давид Сасунский» (его иное пространственное название «Неистовые из Сасуна» или «Неистовые Сасунцы») – выдающееся художественное произведение, ставшее символом духа армянского народа и его исторической судьбы. Эпос достаточно широко известен и за пределами Армении: в различных версиях он переведен на основные европейские языки и языки народов бывшего СССР, он регулярно включается в различные антологии мировой литературы. В декабре 2012 года эпос «Давид Сасунский» был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что он был записан в относительно поздний период³³, сразу после его появления он оказал огромное влияние на армянское общественное сознание, литературу и идеологию. Главные герои эпоса, в особенности центральный персонаж – Давид Сасунский, стали восприниматься как вечные символы армянской идентичности. Не только история, но и текущие события стали осмысляться (и переосмыляться) в соответствии с кодом, заданным этим эпосом. Приведем три показательных примера. Так, в года Великой Оте-

³³ Принято считать, что эпос «Давид Сасунский» в устной форме передается с IX века и основой его послужила освободительная борьба армян против арабских завоевателей, хотя сам эпос включает и ряд более архаичных эпизодов. Тем не менее в армянских источниках он не упоминается, хотя еще в XVI веке португальский путешественник Местре Афонсо и курдский историк Шараф Хан из Битлиса, независимо друг от друга, воспроизвели некоторые эпизода эпоса. Первая запись была сделана лишь в 1873 году епископом Гарегином Срвандзятяном – эти, а также и другие справочные сведения (см. в: Арутюнян 1977).

чественной войны был сформирован танковый полк «Давид Сасунский» – такова была воля пожертвовавших на закупку танков американских армян: как видим, война с фашистской Германией символически была представлена как продолжение эпических подвигов Давида. Второй случай носит несколько анекдотический характер – в 2013 году, во время президентских выборов Армении (2013г.) один из кандидатов провозгласил себя «знатоком эпоса» («Հայաստան») и использовал эпос как политическую программу – по его мнению, в эпосе настолько точно была описана текущая ситуация и пути выхода из кризиса, что каких-либо добавлений не требовалось. Символичность эпоса могла ассоциироваться и с вооруженной борьбой – так, в 2016 организаторы вооруженного мятежа назвали свою группировку «Неистовые сасунцы», подчеркивая тем самым связь с национальной освободительной борьбой. Подобный подход к эпосу отражает высокую степень его укорененности в общественном сознании, в том числе и при идеологическом моделировании современных политических процессов. Помимо героических персонажей, актуальными для общественного сознания остаются и отрицательные герои, с которыми обычно ассоциируются власти – это дядья Давида, коллаборационисты и узурпаторы Дзенов Ован (Горлан Ован) и Цран Верго (Засранец Верго).

Безусловно, такая тесная связь эпоса с текущей историей, и даже повседневностью, оказывает воздействие на модус его восприятия. Подобно легенде о прародителе армян Айке, эпос воспринимается, прежде всего, в патриотическом ключе – как победоносная борьба армянского народа против иноземных захватчиков за независимость, за идентичность, религию и саму возможность существования. Другое направление семантизации эпоса – это традиционный историко-филологический подход, который сосредоточен на выявлении того, какие исторические события нашли отражение в эпосе: разумеется, некоторые исторические факты могли послужить основой для тех или иных представленных в эпосе эпизодов, но несомненно и то, что в эпосе они явлены трансформированными в соответствии с фольклорными моделями. Кроме того, сами сказители и их аутентичные слушатели, в отличие от филологов, воспринимали эпос как повествование о реально случившемся, а вовсе не как искаженный образ исторических событий. Еще одно направление осмысле-

ния и интерпретации эпоса – это его сравнительный этимологический анализ, который ориентирован на экспликацию мифологических индоевропейских корней основных персонажей³⁴.

Однако эпос достоин и имманентного изучения – не как иногда неполное и противоречивое отражение других систем (исторических или мифологических), но и как целостная, связанная и многоаспектная самодостаточная семантическая система. Как это ни парадоксально, существует очень мало попыток изучить эпос именно как поэтическое произведение, как художественный текст, используя методологию поэтики и лингвистики текста (в некоторой степени этот пробел был восполнен А. Егиазаряном)³⁵.

4.2. Глубинная семантика и смысловое единство эпоса.

Мы также сосредоточимся на вопросах поэтики, но, по сравнению с А. Егиазаряном, мы намерены выявить структурные аспекты эпоса и его глубинной семантики³⁶. Применение современных концепций и методов лингвистики и семиотики текста позволяет увидеть структурную целостность эпоса и рассмотреть его с этой новой точки зрения: выявления формы (структуры) семантической организации эпоса. Но до этого требуется ответить на достаточно нетривиальный вопрос: насколько методы текст-анализа применимы к эпосу, и если да, то в какой степени и каким образом? И можно ли вообще говорить о тексте применительно к эпосу «Давид Сасунский»? В самом деле, ведь нет такого объекта изучения, как полный текст эпоса «Давид Сасунский» – то, что обычно имеют

³⁴ Ср.: (Орбели 1956). Из исследований последнего времени отметим (Petrosyan 1997; Петросян 2012, 2014; Russell 2007; Russell 2014). Ценным вкладом в изучение эпоса стали вышедшие под редакцией Армена Петросяна и Азата Егиазаряна четыре выпуска «Армянский эпос и всемирное эпическое наследие».

³⁵ См.: (Егиазарян 1999, перевод на англ.: Yeghiazaryan 2008); а также (Bardakjian 2011; Lint 2010).

³⁶ Приближением к проблемам глубинной семантики, но выполненным в сравнительно-сопоставительном аспекте можно считать, помимо вышеуказанных работ Джеймса Расселла, также и цикл исследований Левона Абрамяна (Абрамян 2006; 2007).

в виду, есть сводный текст, который был составлен в 1939 году выдающимся исследователем армянского фольклора и литературы Мануком Абегианом при содействии Геворка Абова и Арама Ганалаяна. Манук Абегиан исполнил свой труд наилучшим образом, ему удалось объединить различные версии и эпизоды в рамках единого текста. Но, в любом случае, это есть результат филологической реконструкции, а не оригинальный текст. Кроме того, среди записанных версий нет ни одной, которая включала бы все четыре ветви, как это представлено в сводном тексте. С другой стороны, есть много интересных эпизодов и деталей, которые не вошли в этот текст. Однако в наши цели вовсе не входит оценивать работу, образцово выполненную Мануком Абегианом и его коллегами. Нашей целью является на основе анализа всех существующих версий выделить нечто, что можно считать инвариантом, основой семантической организации различных вариантов и, тем самым, выявить глубинное смысловое единство даже между непосредственно не связанными между собой версиями и эпизодами, которые можно при таком подходе рассматривать как трансформации некоторой глубинной структуры (инварианта).

Прежде всего, такой подход предполагает иной подход к тексту и механизмам его структурирования и функционирования. Следует отказаться от привычного рассмотрения текста как линейной конкатенации эпизодов, соединенных посредством временных и причинно-временных взаимосвязей. Мы считаем, что следует различать текст как готовый продукт, и текст как порождающую модель для создания таких продуктов. Обычно литературные произведения создают иллюзию, что существует полная и окончательная версия, которая и является собственно текстом, а все другие версии текстом не являются, а представляют собой несовершенные попытки в процессе создания последней и лучшей версии.

Разумеется, и в этом случае возникает ряд проблем, на которых мы сейчас останавливаться не будем. В данном случае можно лишь констатировать, что подобный подход не применим к фольклору, особенно к мифологии. Так что анализ мифа и эпоса может быть использован для введения и обоснования нового подхода к тексту. Впрочем, о «новизне» подобного подхода следует говорить с определенной долей условности. Еще в своей «пионерской» работе «Структура мифов» Клод Леви-Стросс предлагал рассматривать миф как многомерную структуру, как музы-

кальный текст, где линейность речи преодолевается за счет семантических и структурных средств [Levi-Strauss 1955]. Тем самым можно уточнить то, как понимать разграничение между текстом, как продуктом, и текстом, как моделью. Текст, как продукт – это есть линейная последовательность эпизодов, связанных временными или причинно-следственными отношениями. Текст, как модель – это многомерная структура (партитура), которую на семантическом уровне можно рассматривать как модель для создания различных композиций, которым будет соответствовать некоторое множество миров текста (художественных миров, или, используя термины модальной логики – возможных миров). При обращении к эпосу «Давид Сасунский» можно описать некоторые конфигурации связей, структур и смыслов, которые можно рассматривать как глубинную форму для определенных семантических моделей. Семантическая модель есть множество базисных объектов (персонажей), событий и отношений, которые по-разному воспроизводятся в различных ветвях, версиях и эпизодах эпоса. Вариации и преобразования этой семантической модели выступают как репрезентации той же глубинной структуры в тексте эпоса, а сам эпос понимается как упорядоченное множество всех семантических вариантов, с которым соотнесено некоторое множество взаимосвязанных возможных миров (областей интерпретации).

В настоящее время, основываясь на результатах развития лингвистики текста и модальной семантики, можно подвести лингвистический фундамент под предложенное Леви-Строссом понимание мифа как многомерной нелинейной структуры и, даже как инструмента для преодоления линейности времени. В наших предыдущих публикациях мы попытались описать формальную семантическую структуру текста с подобной точки зрения [Золян 2013; Золян 2014]. Текст понимается как смыслопорождающий механизм, а не как – пусть даже очень сложная – линейная композиция высказываний, обособляемая от других подобных вербальных композиций четко выделяемыми границами (началом-концом). Тем самым семантическая структура текста выступает как полисемантическая многомерная структура, или, если воспользоваться прекрасной метафорой Льва Толстого о его романе «Анна Каренина», – как «бесконечный лабиринт сцеплений», создающих основу для бесконечного множества интерпретаций. Изменение текстовой семантики литературного произведе-

дения не сопровождается изменением языковых выражений текста: она оформляется как создание нового (мета-) текста, тогда как в случае фольклорных текстов новая семантика может найти свое воплощение, в том числе и в новом в языковом отношении тексте. Для фольклора как раз обычной является ситуация, что текст существует как множество смысловых и текстовых вариантов.

С этой точки зрения, в случае «Давида Сасунского» множество возможных интерпретаций задано, но не как множество возможных прочтений некоторого текста (как это имеет место в случае литературного произведения) – в данном случае множество интерпретаций формируется на основе различающихся версий основной семантической модели-инварианта. Тем самым, становится несущественным то, имеется или нет окончательный (или исконный и т.п.) вариант текста, а основным вопросом становится то, до какой степени можно рассматривать имеющиеся версии как преобразования той же базовой структуры. Таким образом, вносится необходимое уточнение: эпос рассматривается не как *произвольный набор различных версий*, а как *упорядоченное множество всех семантических вариантов*. Поэтому, понимая семантику эпоса как бесконечное множество возможных интерпретаций и межмировых соотношений, мы, тем не менее, отмечаем, что эта все эти интерпретации должны быть различными вариациями основной семантической структуры, рамками которой замкнута и упорядочена их потенциальная бесконечность.

Совместимы ли друг с другом текстовые миры различных версий и ветвей и какие типы семантических отношений устанавливаются между ними? Отношения упорядоченности и связности должны быть установлены как внутри текстовых структур, так и между ними, учитывая парадигматические отношения и связи между различными версиями поэмы. С таких теоретических позиций эпос «Давид Сасунский» можно рассматривать как истинный образец текста, то есть как такой текст, который не был редуцирован к какой-либо более или менее случайной манифестации, будь то некая композиция ветвей, эпизодов, строф и т.д., а предстает именно как – повторим слова Льва Толстого об «Анне Каренине» – «бесконечный лабиринт сцеплений». Заметим, что при этом связи не хаотичны и произвольны, но обладают некоторой присущей им логикой, которая поддерживает всю семантическую структуру, в целом, и придает ей устойчивость.

Возможны два подхода к сюжету: сюжет рассматривается в аспекте его содержания и идеологии, или же как форма смысловой организации текста. Первый осознается автором и читателями, второй, как правило, не осознаваем и может быть выявлен только в результате метаязыкового анализа. Это не столько содержание, сколько семантическая форма, которая организует собственно содержание. Здесь уместна лингвистическая аналогия – эти два аспекта сюжета, его содержание и семантическая форма, выступают, соответственно, как его поверхностный и глубинный уровни (или структуры). Поверхностный уровень – это то, что читатель воспринимает непосредственно. Этот уровень выражает тематику и идеологию произведения. Глубинный уровень – это тот каркас, или формальная структура, которая организует сюжет и связывает между собой различные эпизоды. Это не значит, что глубинный уровень выражает более глубокое содержание – это тот *инвариант*, результатом переосмысления и соответствующей трансформации которого явятся структуры поверхностного уровня. Впервые, насколько мы можем судить, применительно к структурам текста различие между глубинными и поверхностными структурами было предложено Владимиром Проппом [1928г.], хотя он и не употреблял подобных терминов. Если в пост-фольклорной ситуации глубинные структуры (инварианты) характеризуют преимущественно жанр, а не отдельные тексты, то в фольклоре это, как правило, унаследованные из прошлой стадии сюжетные семантические структуры, которые преобразуются в семантическую схему. Как показал В.Я. Пропп в более поздних работах [1958], это с особой очевидностью проявляется при переходе от мифа к эпосу – когда семантические системы предыдущего исторического этапа, при сохранении системы тех же смысловых оппозиций, становятся формой выражения иного содержания и миропонимания.

Указанное разграничение между глубинными и поверхностными структурами применительно к эпосу «Давид Сасунский приводит к весьма интересным следствиям. Выявляется очень высокая степень текстовой связности на глубинном уровне, при том, что на поверхностном уровне она является достаточно низкой. На поверхностном уровне связность между различными циклами поддерживается исключительно за счет генеалогии главных героев (главный персонаж следующего цикла является сыном главного героя предыдущего), а также тем, что все события связа-

ны с одним и тем же центральным локусом – Сасуном. Внутри циклов сюжет также распадается на мало связанные между собой эпизоды, причем одни и те же эпизоды в разных версиях могут достаточно свободно переходить из одного цикла в другой. Значительный разброс наблюдается также и между различными зафиксированными версиями эпоса. В то же время, обращение к глубинным структурам эпоса позволяет увидеть его единство, целостность и рассматривать его как единый комплекс всех его различных ветвей, версий эпизодов, и даже вариантов одного и того же эпизода. На этом уровне наблюдается исключительная цельность и связность не только ветвей, но и различных фрагментов и вариантов эпоса. Как организующая – своего рода каркас сюжета – выступает семантическая схема, отражающая организацию социума по двум связанным, но не всегда совпадающим осям (патрилинейность-матрилинейность; патрилокальность-матрилокальность) и по двум фундаментальным оппозициям (мужское-женское; свое-чужое).

С этой точки зрения, разнообразие различных версий благоприятствует применению вышеуказанного подхода. Сравнительно позднее время письменной фиксации эпоса, безусловно, привело к неизбежным потерям более ранних версий, но, вместе с тем, обеспечило дополнительную возможность для появления новых вариантов. В ходе его бытования исключительно в устной форме текст не мог не подвергаться постоянным существенным изменениям. Отсутствие письменной фиксации делало возможным свободное варьирование основных тематических структур. Различные варианты представляют возможности различного смыслового и событийного развития одной и той же семантической структуры. Таким образом, место несуществующей «изначальной», «исконной» или же «истинной» версии текста или версии заступает парадигма взаимозаменяемых и взаимодополняющих вариантов.

Синтагматическая связность сюжета осложняется и обогащается его парадигматическим измерением. Приведем поясняющий пример: в различных версиях эпоса варьируются родственные отношения между главным героем Давидом и его антагонистом – Мсра Меликом. Во всех версиях они предстают как антагонисты, бой между ними – обязательный центральный эпизод эпоса. В различных версиях Мсра Мелик появляется как отчим, как сводный дядя или сводный брат Давида, или как сын ма-

чехи Давида, и даже как незаконнорожденный («շուն Մելիք», “shun Melik” – буквально: «Собака Мелик», т.е. «выродок», «бастард Мелик») – сын от любовника второй (младшей) жены Льва Мгера (она же – мачеха Давида). При всем разнообразии и в некоторых случаях причудливости этих отношений родства/свойства четко просвечивает основная модель: Мсра Мелик является отчимом или старшим сводным братом Давида. Она допускает различные преобразования, но только такие, которые не затрагивают основные характеристики, а именно – это принадлежность Мсра Мелика к клану и локусу матрилокальной (второй) жены отца Давида (Льва Мгера). На поверхностном уровне может быть только одно из возможных отношений, то есть Мсра Мелик может быть либо отчимом Давида, либо его сводным братом или приемным дядей и т.д. Однако на глубинном уровне все эти отношения возможны, поскольку они сохраняют инвариантные признаки (принадлежность к клану и локусу мачехи Давида). Как видим, тот же набор семантических признаков актуален на обоих уровнях, но на глубинном уровне он выступает как конъюнкция признаков, а на поверхностном уровне – как дизъюнкция.

Другие семантические характеристики (в первую очередь, идеологические) могут быть объединены с этим глубинным инвариантом. Идеологические характеристики должны мотивировать враждебные отношения между патрилокальным Сасуном и матрилокальным Мсыром (Египтом), и это неразрешимое противоречие на наблюдаемом поверхностном уровне интерпретируется как патриотическая и религиозная борьба армян-христиан против иноземных завоевателей-идолопоклонников. Тем не менее, есть некоторые «не- патриотические» версии (например, сказителя Аракела Шакояна из Нор Баязета) – после победы над Меликом Давид оставляет Сасун и переезжает в Мсыр в качестве законного царя. Так античная Эдипова модель захвата власти путем убийства царя и женитьбы на его вдове оказывается актуализованной в данном эпизоде³⁷. Хотя

³⁷ Примечательно, что та же модель обретения власти как возможность присутствует и в «патриотическом» варианте (повествователь Мкртич Арутюнян из Шатаха), но в этом случае Давид отвергает подобное развитие:

*Մեր կաւի. Գորդի,
Սպանիր յեւ տղեն՝ զՄարտի Մելիք,
Չարար չկա, դուն էլ իմ տղեն եւ,
Ըրի, ինու կնիկ առ՝ թազալորոյթուն մնա քի,*

подобные случаи являются исключениями на поверхностном идеологическом уровне, но они соответствуют общей логике глубинного сюжета.

Центральный для всего эпоса эпизод смертельного боя между Давидом и Мсра Меликом демонстрирует различия между глубинным и поверхностным семантическими уровнями, а также между функциями тех же семантических элементов в различных ситуациях и интерпретациях. Это показывает, что для объяснения отдельных эпизодов должна быть выстроена общая система, и только в ее концептуальных и структурных рамках всем компонентам эпоса может быть адекватно приписаны их значения и функции. Семантическая организация эпоса «Давид Сасунский» в этом отношении может быть уподоблена структурному принципу мифа, который был охарактеризован Клодом Леви-Строссом следующим образом: «Если мифы имеют смысл, то он определен не отдельными элементами, входящими в их состав, а тем способом, которым эти элементы комбинируются» [Levi-Strauss 1955, 429].

Структурообразующим элементом рассмотренного эпизода, который соотнесен с устойчивыми сюжетными элементами и других ветвей эпоса, является конфликт между носителями патрилокальных и матрилокальных отношений. Основная сюжетная линия – это не находящие успешного завершения попытки установление патрилинейных и патрилокальных отношений, родство через отца и связанные с ним отношения власти и наследования, *переход от незнания отца к узнаванию отца*. Именно эта линия скрепляет все четыре ветви эпоса. Хотя эпос начина-

Մարրն էլ յոսգաւորտյոյնն արի,

Մատն գաթի քննն ի:

Դաւիթը էլ արի:

Յես արնն վոր ծնվոր եմ, գառնարատ եմ, <գառն անարատ>

Յես յեմ խաղաղ յե՞ր ձեր խաղաղ յե՞րնու չո՞ւր խաղաղ:

(Mer kasi. Vordi, Spanir yem tghen' zMysra Melik', Zazar ch'ka, dun yel im tghem yes, Ari, inu knik arr' t'agavorut'yun mna k'i, Msym el t'agavorut'yun ara, Sasun zat'i k'vonn i: Davit' k'asi. Yes more vor tsnver yem, garnarat yem, <garrn anarat> Yes yem khalal lesh dzer kharam lesheru ch'um kharrni). Мать (Мсра- Мелика) говорит: «Сынок, ты убил моего сына Мсра-Мелика. Не беда, ты также мой сын. Возьми в жены его жену и пусть также и царство Мсра-Мелика будет твоим, а Сасун и так тебе принадлежит. Давид говорит: «Как я рожден был от матери, я как непорочный агнец, и я не смешаю мое чистое (халал) тело с вашим грязным (харам) телом». Заметим, что, при этом, описывающий себя посредством евангельского символа («непорочный агнец») Давид использует исламские термины «халал» и «харам».

ется с чудесного рождения, отрицания роли отца в деторождении (забеременевшая от воды Цовинар рождает близнецов Санасара и Багдасара), но именно эта ситуация подлежит трансформации. Чуть ли не с самого рождения братья вынуждены вступить в смертельный конфликт с ложным отцом – мужем матери. Этот конфликт и в данном случае получает идеологическую мотивацию как конфликт между армянкой-христианкой и идолопоклонником Калифом (иногда он является турком).

Этот мотив – конфликт с ложными отцами-отчимами (мужьями матери или мачехи) может совмещаться с другим конфликтом – со сводными братьями – детьми настоящего отца, но которые были оставлены им в локусе матрилокальной жены (иногда она совпадает с мачехой). Отсутствие отца, своего рода «безотцовщина», вынуждает героев Сасуна вступать в смертельный бой с матрилокальными претендентами-узурпаторами. Сын и отец Сасуна не могут существовать одновременно. Все герои Сасуна – сироты, потенциальные жертвы матрилинейных отчима или старшего брата. Первые герои эпоса, близнецы Санасар и Багдасар, не имеют отца, их, как и в последующем Мгера-младшего, окружающие называют «շիբ» (“pitch” – незаконнорожденный, букв.: «ублюдок»). Претендующий на роль отца муж матери пытается их убить, но близнецам удается убить его самого, после чего они возвращаются в родной клан матери – к деду или же к дяде по материнской линии. Сын Санасара Мгер фактически не знает отца – Санасар умирает сразу же после рождения Мгера старшего (или Мгера-Льва). Рождение сына, Давида, становится причиной смерти Мгера старшего (это мотивировано нарушением данного обета, и, зачиная Давида как продолжателя рода Сасуна, его родители знают, что умрут). Наконец, единственные отец и сын, которые сосуществуют хронологически, но разделены пространственно – это Давид и его сын Мгер-Младший. Давид покидает Сасун еще до рождения сына, Мгер растет как сирота, и единственная встреча между ними заканчивается боем – лишь в последний момент сын и отец узнают друг друга, избежав убийства сыном отца. Но за этот поединок Давид проклинает сына – пожелав ему быть бессмертным и не иметь потомства. Мгер младший после смерти отца и матери, как и в детстве, которое он провел без отца, вновь становится сиротой – в ряде вариантов брат отца выгоняет его из отчего Сасуна как «собачьего сироту» («շան տրիս»: “shan etim”).

Как видим, бой Давида с Мсра Меликом есть лишь одна из вариаций инвариантного комплекса, хотя и наиболее примечательная в идеологическом отношении. Противопоставление «свое-чужое» может иметь различные проявления, в том числе и как центральный эпизод – бой Давида с Меликом. Но, в целом, это – отражение конфликта между своим Сасуном и своим патрилокальным родом и матрилокальными и матрилинейными локусами, откуда исходит смертельная угроза (напомним, что в некоторых вариантах Давида убивает его же дочь от покинутой матрилокальной жены Чмшрик-Ханум или она сама). Как можно убедиться из сказанного, при всем разнообразии сюжетов налицо повторяющиеся структурные компоненты, которые образуют единый сюжетный комплекс. В эпосе он воплотился в различных мотивах и их модификациях, но единая семантика которого – это конфликт между сыном, которого в отсутствие истинного отца обречен на бой с ложными отцами и которого пытаются лишить (и, как правило, лишают) отцовского наследия. Все сюжетные линии сконцентрированы вокруг наиболее фундаментальных отношений родства (муж/жена; отец/сын; дом (род) отца – дом (род) жены; отец/дяди со стороны матери или отца)³⁸. При этом наличествует четкое смысловое противопоставление начала и конца эпоса – начальному чудесному рождению без отца противопоставлено отцовское проклятие, приводящее к бесплодию. Такая маркированность границ эпоса есть несомненное свидетельство его текстуальной целостности и единства³⁹.

Как видим, функциональная значимость эпизодов эпоса на глубинном и поверхностном уровне различна, что подтверждает вышеприведенную мысль К. Леви-Стросса о смысле мифа как отношении между его структурными компонентами. То, что на поверхностном уровне дано как динамика подчас не связанных между собой событий, на глубинном уровне выступает как результат трансформации и совмещения базисных

³⁸ Здесь не место рассматривать дополнительные, но также существенные конфликты из-за дележа отцовского наследия между основными героями и их дядями как со стороны матери, так и отца.

³⁹ Джеймс Расселл отметил наличие зеркальной симметрии между началом эпоса и его финалом также и на поверхностном уровне, что выражено посредством временной отнесенности соответствующих эпизодов к христианскому празднику – Дню Вознесения, что, по его мнению, свидетельствует о целостности эпоса и кольцеобразной форме его композиции (Russell 2014).

оппозиций. В свое время К. Леви-Стросс предложил универсальную модель разворачивания мифологического сюжета – это семантический инструмент разрешения неразрешимых противоречий. Используя лингвистическую технику современного ему структурного анализа, Леви-Стросс описывает динамику событий как следствие трансформации бинарных оппозиций, в результате чего посредством медиации (введения промежуточных ступеней) осуществляется переход к новым парам менее радикальной оппозиции. В процессе медиации взаимоисключающие члены оппозиции заменяются такими, между которыми можно найти нечто общее. Например, в случае «Давида Сасунского» фундаментальная оппозиция между жизнью и смертью заменяется медиативной формой – бессмертие, но это не жизнь, а лишь отсутствие смерти⁴⁰. Исходная, воплощающая неразрешимое противоречие оппозиция остается, но она предстает в более мягкой форме – как пара противопоставленных, но не взаимоисключающих членов. На последнем этапе семантика и структура исходной оппозиции получает свое зеркальное отражение в финальной ситуации и организующей ее оппозиции.

Согласно Леви-Строссу, этот процесс определяет структуру любого мифа, что может быть описано посредством квази-алгебраической формулы⁴¹:

$$Fx(a):Fy(b) = Fx(b):Fa-I(y).$$

Разумеется, эту формулу следует использовать только в качестве каркаса, или ориентира, который показывает направление семантических операций. Тем не менее, есть значительное соответствие между этой фор-

⁴⁰ Мгер – младший обречен на бесплодие и на бессмертную жизнь в могиле, причем, он не может выйти из пещеры до конца света (это – конец мира, который под влиянием христианства стал восприниматься как второе пришествие Христа или Страшный Суд).

⁴¹ Ср.: «... любой миф (рассматриваемый как совокупность его вариантов) может быть представлен в виде канонического отношения типа: $Fx(a):Fy(b) = Fx(b):Fa-I(y)$. Поскольку два члена, a и b , заданы одновременно, равно как и две функции, x и y , этих членов, мы полагаем, что существует отношение эквивалентности между двумя ситуациями, определяемыми, соответственно, инверсией членов и отношений, при двух условиях: 1) если один из членов может быть заменен на противоположный (в вышеприведенном выражении: a и $a-I$); 2) если можно произвести, соответственно, одновременную инверсию между значением функции и значением аргумента двух элементов (в вышеприведенном выражении y и a). (Levi -Strauss 1955, 442).

мулой и структурой содержания эпоса «Давид Сасунский». Возможно, столь сильную корреляцию между глубинной семантикой эпоса и формулой, предложенной Леви-Строссом для описания мифа, может объяснить вышеупомянутая идея Владимира Проппа о том, что при переходе от мифа к его трансформам (сказка, эпос) изменяется содержание мифа, но унаследованная из предыдущего этапа система семантических оппозиций и категорий становится формой выражения для нового содержания и новых идеологических моделей. Разумеется, оппозиция между матрилокальностью и патрилокальностью в конце XIX – начале XX века давно уже не была актуальной для повествователей эпоса, но она, как было показано выше, продолжала оставаться основной для глубинного сюжета и на поверхностном уровне получала свое выражение в новых идеологических противопоставлениях. С одной стороны, это было противопоставление этническое: армяне – турки («տաճիկ»: “tatch’ik”); с другой – религиозное: христиане («Խաչապաշտ»: “khachapasht”, букв.: «крестопоклонники») – идолопоклонники («կրպաշտ»: “kr’apasht”).

Говоря о соответствиях между формулой Леви-Стросса и эпосом «Давид Сасунский», прежде всего, следует отметить совпадение между числом членов формулы и числом циклов эпоса; это – исключительный случай, когда эпос описывает деятельность, как минимум, четырех поколений, тогда как в других случаях присутствуют максимум три поколения⁴².

Однако куда более существенным представляется то, что эпос в основе семантической организации эпоса лежит упорядоченная группа семантических оппозиций, обеспечивающих градуальный переход от исходной ситуации к ее инвертированной (зеркальной) форме в финале эпоса. Основная модель, которая организует структуру эпоса в целом, может быть представлена как следующая семантическая интерпретация формулы Леви-Стросса:

$$Fx(a): Fy(b) = Fx(b):Fa-I(y),$$

⁴² См.: (Неклюдов 2006); заметим, что С. Неклюдов отождествляет поколение с главными героями четырех циклов, между тем, помимо этих четырех героев (близнецы Санасар и Багдасар; Мгер-Лев; Давид; Мгер-младший), в эпосе, в первой ветви присутствуют мать близнецов Цовинар, ее отец Гагик, а в одной из версий четвертой ветви – сын Мгера-младшего Ованнес.

где функции и переменные могут быть интерпретированы как: (a) – (женский); (b) – (мужской); Fx – (деторождение); Fy – (отсутствие деторождения); $Fa-I$ – отсутствие женщин.

Семантическую структуру эпоса можно представить, как переход от матрицы первой ветви

| + женское || мужское |

VS

| +деторождение || – деторождение|

к матрице четвертой ветви:

| + деторождение || отсутствие женщин |

VS

| + мужское || отсутствие деторождения |.

В первой части связанная с признаком «женское» функция «деторождение» противопоставлена отсутствию деторождения, ассоциированного с признаком «мужское». Это находит свое перевернутое отражение в ситуации финальной части: продолжение рода (деторождение) связано с мужским началом, чему противопоставлено отсутствие потомства, отсутствие деторождения и отсутствие женщин. Это можно интерпретировать как переход от матрилинейной и матрилокальной системы в ее радикальной, отрицающей роль мужчины к деторождению во время родов (зачатие Цовинар от выпитой ею воды, ее уход из дома мужа и возвращение в дом отца, убийство ложного отца сыном, возникновение дома Сасуна) – как переход к противоположной радикальной патрилинейной модели, отрицающей роль женщин в абсолютной и поэтому трагическая форма. Это находит свое отражение в следующих эпизодах и мотивах последних глав эпоса: бесплодие Мгера, его заточение в пещере (метафора могилы); проклятие отца (символическое убийство сына), убийства Мгером (иногда немотивированные) женщин, перенесение мертвого тела жены Мгера – Гоар из ее отчего дома в Сасун и ее погребение в Сасуне рядом с могилой жены Давида – Хандут⁴³, завершение истории Сасуна:

⁴³ Մհերը էլավ, էրարձ Գոհարի մարմինը,

Առեց, տարավ Սասնի տուն.

Էլավ, տեսավ հրոհբեր մեռած:

Գերեզմանի շինեց, գոհարը Խանդութի կուշտ թաղեց: (Mher elav, ebardz Gohari marmin, Arrets', tarav Sasna tun. Ekav, tesav` hroghber merrats. Gerezman shinets', zGohar Khandut'i kusht t'aghets': «Мгер взял тело Гохар, Привез в для Сасуна. Увидел – дядя (брат отца) мертв. Вырыл могилу, похоронил рядом с Хандут».

«Սասունն են աւիրն եր, վոր աւիրվաւ» (“Sasun en avirn er, vor avirvav” / Сасун был разрушен и разрушен – полностью). Финал эпоса – заточение бесплодного Мгера в пещере – можно рассматривать как медиативную форму основную для мифологического мышления оппозиции

(ЖИЗНЬ vs СМЕРТЬ) vs БЕЗ – СМЕРТИЕ,

отсутствие смерти при отсутствии потомства (то есть жизни) есть отрицание обоих членов оппозиции. Жизнь и смерть, несовместимые члены оппозиции, оказываются совмещены в их обращенном виде – как отрицание и того, и другого. Отсутствие смерти оказывается сопряженным с отсутствием потомства⁴⁴, а наличие потомства – со смертью⁴⁵. Нетрудно заметить, что эта оппозиция (ЖИЗНЬ vs СМЕРТЬ) vs БЕЗ – СМЕРТИЕ, – есть глубинная структура и, в том числе вышеприведенной семантической формулы эпоса, эта формула является ее сюжетной конкретизацией.

4.3. Глубинный сюжет эпоса: от чудесного рождения – к Апокалипсису.

В заключение в общих чертах укажем основные механизмы дальнейшего развертывания сюжета эпоса. Вышеприведенные глубинные семантические структуры определяют различные тематические направления развития сюжета, а также пределы возможных вариаций. Смысловые единицы базовой модели развиваются в производных, каждая из которых определяет некоторый набор тем и возможных ходов. Внутренняя динамика этих производных регулируется той же логикой, что и базовая модель – это система градуальных оппозиций, то есть пошагового перехода от некоторого начального семантического комплекса посредством промежуточных структур до его конечной инверсии и/или отрицания. Такое развитие сюжета соответствует главной модели и распределено по четы-

⁴⁴ Ոչ ժառանգ լիւ ինձի, ոչ վահ ունիւի (Voch' zharrang ka indzi, voch' mah unim) – Нет мне ни смерти, ни потомства.

⁴⁵ Իմ գեղ իմ անձից է,

Էդ իմ սերունն էր, որ ինձի սպանեց: (Im ts'yets' im andzits' e, Ed im sermn er, vor indzi spanets'): «Моя гибель – от меня самого, Мое семя меня убило».

рем циклам. Это можно продемонстрировать как посредством анализа сюжета (описываемых событий), так и тем, и мотивов (семантических инвариантов и вариантов). Основная формула может быть проинтерпретирована как противопоставление между персонажами первой и четвертой ветвей эпоса, или, точнее: между глубинными характеристиками персонажа. Эти характеристики понимаются в духе модели В.Я. Проппа – как: а) набор семантических признаков, который совмещен и который определяет: б) действия данного персонажа и круг ситуаций, в которых он участвует [см.: Золян 1981]. Основная оппозиция, которая была приведена выше, может быть выражена как противопоставление между прародительницей рода Сасуна и его последним прямым отпрыском:

ЦОВИНАР VS МГЕР младший.

Серия промежуточных оппозиций является основой для сюжетов отдельных частей. Их также можно описать как противопоставление между персонажами:

Цовинар VS КАЛИФ

Цовинар VS {САНАСАР vs БАГДАСАР}

САНАСАР vs БАГДАСАР

{САНАСАР vs БАГДАСАР} vs МГЕР ст.

МГЕР ст. vs {АРМАГАН vs ИСМИЛ ХАТУН}

МГЕР ст. vs. {ДАВИД vs. МСРА-МЕЛИК}

ДАВИД vs. МСРА-МЕЛИК

ДАВИД vs. {МСРА-МЕЛИК vs ИСМИЛ ХАТУН}

{ДАВИД-МГЕР мл} vs. ГОРЛАН ОВАН

ДАВИД – {ХАНДУТ vs ЧМШКИК ХАНУМ}

{ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ОППОЗИЦИИ} VS МГЕР мл.

Каждая из этих пар представляет определенную трансформацию и развитие базового семантического комплекса, который задан как в исходной, так и в финальной паре, и обобщением которого является вышеприведенная формула – семантический инвариант эпоса.

Воплощением финальной формулы оказывается Мгер младший – он знаменует трагическое начало эпоса. Все герои – кроме родоначальника Санасара и, по некоторым версиям, ушедшего в чужие края и принявшего ислам его брата Багдасара, гибнут трагической смертью, причем не от чужих, а в результате собственных ошибочных деяний и нарушен-

ных обетов. Наиболее трагична участь Мгера младшего – его становящиеся бессмысленными поединки, в том числе и с ангелами, невозможность продолжения рода, изгнание и заточение, наконец, то, что его перестает держать земля, все это – поверхностно-семантические характеристики «потусторонности» Мгера. Мир не принимает Мгера, и Мгер мстит миру, и в конце уходит из мира. Он рождается со следами крови на ладони – как предвестие тех бед, что он принесет и миру, и себе. Он сможет выйти из пещеры только по скончании времен. Поскольку это уже вне времени эпоса – различные версии предоставляют различные версии конца света – это может быть утопическое время справедливости и изобилия, когда «зерно будет с шиповник»: это может быть гибель мира или спасение мира. В версии Мурада из Апарана (записана Гарегином Овсепяном), парадоксальным образом представлены оба продолжения: Мгер устроит побоище («Մեր կուրսն էնի»: “*Mher katurum eni*”) и в конце примет мученичество («Վերջ կէ մարտիրոսի»: “*Verj ka martirosvi*”).

Закономерно, что в общественном сознании отразился по-детски прямодушный и бесстрашный герой Давид, однако образ Мгера, как обиженного на мир эскаписта, также постоянно оказывается актуализованным, особенно в духе литературы советского периода, видевшего в нем бунтаря и выразителя протестных настроений народа. Между тем, глубинный сюжет эпоса именно Мгера-младшего делает средоточием семантических линий сюжета, где героическое начало перерастает в трагическое, что в значительной мере характерно и для второй и третьей ветвей эпоса. Но в четвертой, и это верно было замечено Джеймсом Расселлом [Russell 2014], героиня эпоса приобретает черты предвестия конца света – Апокалипсиса. Аналогии с эпилогом «Истории» Мовсеса Хоренаци более чем очевидны.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абрамян Л.А.* Герой без детства и герой, не расстающийся с детством // «Армянский народный эпос и всемирная эпическое наследие»: Материалы второй международной конференции. Ер., 2006. СС. 47–61.
2. *Абрамян Л.А.* Прикованный герой: перекрывающиеся ландшафты и мифы // АБ-60 // Сборник статей к 60-летию А.К. Байбурина. СПб., 2007. СС. 188–201.
3. *Абрамян Л.* Конструктивисты раннего Средневековья: случай Армении // «Антропология социальных изменений». М.: «РОСС-ПЭН», 2011. СС. 87–115.
4. *Анкерсмит, Франклин Р.* История и тропология: взлет и падение метафоры, М.: «Прогресс-Традиция», 2003.
5. *Аристотель.* Об истолковании /Аристотель: Сочинения: в 4-х т., Т. 2, М.: «Мысль», 1978. СС. 91–116.
6. *Аристотель.* Метафизика. М.: «Эксмо» 2006, 608с.
7. *Арутюнян С.* Армянский народный эпос // «Сасна Црер». Ер.: «Советакан грох», 1977. СС. 619–642 (на арм.яз.)
8. *Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М.М. Сокольской. М.: «Языки славянской культуры» 2004.
9. *Бадью А.* Метаполитика: можно ли мыслить политику? / Краткий трактат по метаполитике. М.: «Логос», 2005. 240с.
10. *Батлер Дж.* Заметки к перформативной теории собрания. М.: «Ад Маргинем Пресс», 2018. 248с.
11. *Бердяев Н.А.* Опыт эсхатологической метафизики / Н.А. Бердяев, Царство Духа и царство кесаря, М.: «Республика», 1995. СС. 164–286.
12. *Бурдые П.* Социология социального пространства. СПб: «Алетейа», 2007.

13. *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат / Пер, Д. Лахути. М.: Изд-во иностр. лит., 1958. 133
14. *Витгенштейн Л.* Философские исследования / Л. Витгенштейн. Философские исследования // Часть I. Пер. с нем. / Состав., вступ. статья, примеч. М.С. Козловой. Перевод М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М.: Изд-во «Гнозис», 1994. 612с.
15. *Вригт фон Г.Х.* Диахронические и синхронические модальности // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки, М.: «Наука», 1984. СС. 8–13.
16. *Вригт фон Г.Х.* Объяснение и понимание / Г.-Х. фон Вригт, Логико-философские исследования, М.: «Прогресс», 1986. СС. 35–245.
17. *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // «-Путь: международный философский журнал», № 1, 2005. СС. 9–61.
18. *Грязнов А.Ф.* (ред). Аналитическая философия: становление и развитие / Антология. Общая ред. и сост. А.Ф. Грязнова. М., 1998.
19. *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по философии истории. СПб: «Наука», 2000. 48с.
20. *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса / Э. Геллнер. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // «Путь: международный философский журнал», № 1. 1992. СС. 9–61.
21. *Данто А.* Аналитическая философия истории / Пер. с англ. А.Л. Никифорова, О.В. Гавришиной под ред. Л.Б. Макеевой, М.: «Идея-Пресс», 2002.
22. *Демьянков В.З.* «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста // Изв. Акад. наук СССР: сер. Лит. и яз., Т. 42. № 4. М., 1983. СС. 320–329.
23. *Егиазарян А.* Поэтика эпоса «Давид Сасунский». Ер.: Изд-во НАН Армении, 1999 (на арм. яз.)
24. *Золян С.Т.* Описание сюжета: генеративный подход // «Семиотика и проблемы коммуникации». Ер.: Изд-во АН Арм. ССР, 1981. СС. 89–105.
25. *Золян С.Т.* Описание регионального конфликта как методологическая проблема // «Полис», № 2, 1994. СС. 131–142.

26. *Золян С.Т.* Между взрывом и застоём: постсоветская история как культурно-семиотическая проблема // «Логос», № 9 (19), 1999. СС. 80–86.
27. *Золян С.Т.* О «долженствующем быть» в истории / С. Золян, М. Лотман, Исследования в области семантической поэтики акмеизма, Таллинн: Изд-во Таллиннского университета, 2012. СС. 291–315.
28. *Золян С.Т.* «Бесконечный лабиринт сцеплений»: семантика текста как многомерная структура // «Критика и семиотика», № 1(18), 2013. СС. 18–44.
29. *Золян С.Т.* Семантика и структура поэтического текста / Изд-ие второе, перераб. и доп. М.: “URSS”, 2014.
30. *Золян С.Т.* Модальная семантика и семиотический инструментарий конструирования исторической памяти // Вестник РГГУ. «Теория литературы. Лингвистика. Культурология», № 4, ч. 3, 2022. СС. 365–377: DOI: 10.28995/2686-7249-2022-4-365-377
31. *Крикпе С.* Тождество и необходимость // «Новое в зарубежной лингвистике». Вып. 13. М., 1982. СС. 340–376.
32. *Лихачев Д.С.* Поэтика древнерусской литературы, Ленинград: «Наука». 1967.
33. *Лотман Ю.М.* Клио на распутье // «Наше наследие», № 5, 1988. СС. 1–4.
34. *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М.: «Гнозис», 1992. 272с.
35. *Лотман Ю.М.* Культура и взрыв, М.: «Гнозис», 1992.
36. *Лотман Ю.М.* Смерть как проблема сюжета / Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, М.: Гнозис, 199. СС. 417–430.
37. *Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров: Человек-текст-семиосфера-история, М.: «Языки русской культуры», 1996.
38. *Лотман Ю.М.* Непредсказуемые механизмы культуры / Подготовка текста и примечания Т.Д. Кузовкиной при участии О.И. Утгоф, Таллинн, 2010.
39. *Лукашевич Я.* О детерминизме // Философия и логика Львовско-Варшавской школы, М.: «РОССПЭН», 1999. СС. 179–197.
40. *Луман Н.* Общество как социальная система / Пер. с нем. А. Антоновского. М.: «Логос», 2004.

41. *Луман Н.* Социальные системы Очерк общей теории / Пер с нем. И.Д. Газиева СПб: «Наука» 2007, 442с.
42. *Мандельштам О.* Сочинения: В 2-х т. М.: «Худож. лит.», 1990.
43. *Малхасян, С.* Введение // «Мовсес Хоренаци. Патмутиун Айоц» (История Армении/армян. Ер.: Изд-во «Айастан», 1997 (на арм.).
44. *Маркс К. К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта / К. Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Указ соч. Соч.: 2-е изд. – Т. 8. – М.: Политиздат, 1957. – С. 115–217..
45. *Неклюдов С.Ю.* Типология и история в памятниках героического эпоса // The Armenian Epic “Daredevils of Sassoun” and the World Epic Heritage. 4–6 November, 2004 / Tsakhkadzor. Yer.: National Academy of Sciences of Armenia, 2006. PP. 17–24.
46. *Орбели И.А.* Армянский героический эпос. Ер.: Изд-во АН Армянской ССР, 1956.
47. *Петросян А.Е.* Соотношение армянских и северокавказских нартских эпосов // Армянский эпос и всемирное эпическое наследие. Вып. 3 / Под ред. А. Петросян, А. Егиазарян. Ер.: Изд-во «Гитутюн», 2012. СС. 8–51.
48. *Петросян А.Е.* Структурные связи армянских и осетинского нартского эпосов // Армянский эпос и всемирное эпическое наследие. Вып. 4 / Под ред. А. Петросяна. Ер.: Изд-во «Гитутюн». 2014, сс. 47–53.
49. *Поппер К.* Открытое общество и его враги / Пер. с англ. под общей ред. В.Н. Садовского, М.: «Культурная инициатива», Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. Т. II, 1992.
50. *Поппер К.* Нищета историцизма / Пер. с англ. С.А. Кудриной, М.: «Прогресс», 1993.
51. *Прайор А.И.* Временная логика и непрерывность времени // Семантика модальных и интенциональных логик /Перевод с английского, состав., общая ред. и вст. статья В.А. Смирнова, М.: «Прогресс», 1981. СС. 76–97.
52. *Прайор А.И.* Временная логика и непрерывность времени // Семантика модальных и интенциональных логик. М.: «Прогресс», 1981. С. 76–97.

53. *Пропн В.Я.* Трансформации волшебной сказки // Поэтика, Вып. 4, Л.: “Academia”, 1928.
54. *Пропн В.* Морфология сказки. Гос. ин-т истории искусств, Л.: “Academia”, 1928.
55. *Пропн В.Я.* Русский героический эпос. М.: ГИХЛ, 1958.
56. *Рикёр П.* Память, история, забвение / Пер. с фран., М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004.
57. *Ренан Э.* Что такое нация? // Э. Ренан. Собрание сочинений в 12-ти т. Т.6. Киев, 1902. СС. 87–101.
58. *Ретина Л.П.* Память и историописание // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006. СС. 19–46.
59. *Смирнов В.А.* Определение модальных операторов через временные / Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки, М.: «Наука», 1984. СС. 14–31.
60. *Соссюр де Ф.* Труды по языкознанию. М.: «Прогресс», 1977.
61. *Террас В.И.* Классические мотивы в поэзии Осипа Мандельштама // Мандельштам и античность: Сб. ст. Зап. Мандельштам. Вып. 7. М., 1995. СС. 12–32.
62. *Тойнби А.* Повторяется ли история? // Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., СПб., 1996. СС. 35–41.
63. *Тульчинский Г.Л.* Соотношение исторической и культурной памяти: практики забвения // «Социально-политические науки», № 4, 2016. РР. 10–13.
64. *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитоновой, Екатеринбург: Изд-во Уральского университета. 2002.
65. *Федоров А. А.* Производство будущего. Мир 'двойного двоеточия' Гуманитарная Академия, С-Пб, 2023 – 496 с.
66. *Халатьянц Г.А.* Армянский эпос в «Истории Армении» Моисея Хоренского: Опыт критики источников. Ч. 1. Исследование. Ч. 2. Материалы. Ч. 1. М.: Тип. В. Гатцук, 1896, 346с.
67. *Хоренаци Мовсес.* Патмутиун Айоц (История Армении/армян). Ер.: Изд-во «Айастан», 1997 (на арм.), 552с.

68. *Хоренаци Мовсес*. «История Армении». /Пер. с древнеарм. языка, примечания Г. Саркисяна, Ер.: «Айастан», 1990. 291с.
69. *Эмин Н.* Моисей Хоренский и древний эпос армянский. Исследование Н. Эмина, написанное по случаю V Археологического съезда в Тифлисе. М.: Тип. А.В. Кудрявцевой, 1881, 83с.
70. *Элиаде М.* Космос и история: Избранные работы / Пер. с фран. и англ., М.: «Прогресс», 1987.
71. *Ясперс К.* Смысл и назначение истории / Пер. с нем. М.И. Левиной, М.: Изд-во политической литературы. 1991.
72. *Anderson B.* Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism // “Revised Edition”. London-New York: Verso, 1992.
73. *Ankersmit F.* Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language // “Kluwer Boston”, The Hague, Boston, 1983.
74. *Aristotle.* On The Art of Poetry Translated by Ingram Bywater. Oxford, // “The Clarendon Press”: first published 1920; reprinted 1962.
75. *Assmann J.* Cultural memory and early civilization: writing, remembrance, and political Imagination Cultural Memory and Early Civilization // “Writing, Remembrance, and Political Imagination”. Cambridge University Press. New York, 2011.
76. *Bardakjian K.* (Review) Daredevils of Sasun: Poetics of an Epic, by Azat Yeghiazaryan / trans. S Peter Cowe // Middle Eastern Literatures, Vol. 14, No. 3, December 2011, PP. 324–327.
77. *Badiou A.* Being and Event Translated by Oliver Feltham, Continuum, 2005, 526p.
78. *Barsalou L.* Ad hoc categories // Memory&Cognition 11, 1983. PP. 211–227: <https://doi.org/10.3758/BF03196968>
79. *Barthes R.* ‘The Discourse of History’, Comparative Criticism 3, 1981. PP. 7–20.
80. *Barwise J., Perry J.* Situations and Attitudes Journal of philosophy. 1981. Vol. 78. № 11. PP. 668–691: <https://doi.org/10.2307/2026578>
81. *Barwise J., Perry J.* Situations and attitudes. Bradford books // The MIT Press, Cambridge, Mass., and London, 1983, XXII+352p.

82. Berger S. Introduction: Towards a Global History of National Historiographies. In: Berger S.(ed). *Writing the Nation*. Palgrave Macmillan, London, 2007a: https://doi.org/10.1057/9780230223059_1
83. *Berger S. National Myths in Europe // European History Quarterly* 2007b, Vol. 37(2), 291–300. DOI: 10.1177/0265691407075596
84. *Berger S. Narrating the Nation: Historiography and Other Genres / In: S. Berger, L. Eriksonas, A. Mycock (eds.). Narrating the Nation // The Representation of National Narratives in Different Genres*. Berghahn Books, 2008. PP. 1–16.
85. *Berger S. The Past as History National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe* Palgrave Macmillan. 2015.
86. *Berger S. Brauch Nicola and Lorenz Chris 'Narrativity and Historical Writing // Introductory Remarks', in: Berger et al (eds.) 2021. PP. 1–25.*
87. *Berger S., Eriksonas L.. and Mycock, A. (eds) // Analysing Historical Narratives on Academic / Popular and Educational Framings of the Past*, 2017.
88. *Berger S., Eriksonas L., Mycock A. (eds.). Narrating the Nation // The Representation of National Narratives in Different Genres*. Berghahn Books, 2008.
89. *Berger S. and Lorenz Ch. (eds.). Nationalizing the Past Historians as Nation Builders in Modern Europe* Palgrave Macmillan. 2010.
90. *Berger S., Brauch N. and Lorenz Ch. (eds.) Analysing Historical Narratives // On Academic, Popular and Educational Framings of the Past*, Berghahn Publishers, 2021.
91. *Bhabha, Homi K. Introduction: narrating the nation // Homi K. Bhabha (ed.) // "Nation and Narration Routledge", 1990, PP. 1–7.*
92. *Burrow J. A History of Histories: Epics, Chronicles, Romances and Inquiries From Herodotus and The ucydides to the Twentieth Century*, London: Penguin, 2009.
93. *Cresswell M. Hiperintensional Logic // Studia Logica*. 1975. Vol. 34. PP. 25–38.
94. *Cresswell M. Semantical Essays: Possible Worlds and their Rivals*. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers, 1988, 210p.

95. Crossroads of European histories: Multiple outlook on five key moments in the history of Europe, Strasbourg // Council of Europe Publishing, 2006.
96. *Danto A. C.* Analytical Philosophy of History // “Cambridge University Press”, London, 1965.
97. *Gellner E.* 'The Coming of Nationalism and Its Interpretation: The Myths of Nation and Class' In: Gopal Balakrishnan (ed.) // Mapping the Nation, London: Verso, 1996.
98. *Geyer M.* Historical fictions of autonomy and the Europeanization of national history // “Central European History”. T. 22, № 3–4. 1989. CC. 316–342.
99. *Domanska E.* Encounters: Philosophy of History after Postmodernism. By Charlottesville: University Press of Virginia, 1998. XII+293p.
100. *Hobsbawm E.* Nations and Nationalism Since 1780. Programme, Myth, Reality, Cambridge UP/Canto, 1991
101. *Hofstadter Douglas R.* Sander Emmanuel. Surfaces and Essences // Analogy as the Fuel and Fire of Thinking. Basic Books 2013, 592p.
102. *Jenkins K.* The Postmodern History Reader, Edited by Keith Jenkins, London-New York: Routledge. 1997.
103. *Kocharyan R.* Patmutyuny ev hermenevtikan, girq 1, Movses Khorenatcu patmagitakan hayecakargy [History and Hermeneutics, vol.1, Historical-Scientific Conceptions of Movses Khorenatsi], Yer.: Matenadaran, 2016 (in Arm.).
104. *Kocharyan R.* Philosophy and Methodology of Definitions of History. WISDOM, 11(2), 2018. PP. 94–108:
<https://doi.org/10.24234/wisdom.v11i2.214>
105. *Lewis D.* “Truth in Fiction”/American Philosophical Quarterly, 1978, vol. 15 (1). PP. 37–46.
106. *Lewis D.* The Paradoxes of Time Travel // Philosophical Papers, II, New York, Oxford: “Oxford University Press”, 1986. PP. 67–80.
107. *Lévi-Strauss Cl.* The Structural Study of Myth // “The Journal of American folklore”, 68, 270, 1955. PP. 428–444.
108. *Lint van Theo M.* Review: Daredevils of Sasun: Poetics of an Epic, by Azat Yeghiazaryan, trans. S Peter Cowe // Comparative Literature Studies, Vol. 47, No. 4. 2010. PP. 558–561.

109. *Lorenz C.F.G.* ‘Drawing the line: “Scientific” History between Myth-making and Myth-breaking’. In S. Berger et al (eds.) 2008. PP. 35–55.
110. *Lotman J.* Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture, trans. A. Shukman, London and New York: I.B. Tauris, 1990.
111. *Lotman J.* Culture and Explosion. 2009 Berlin, New York: De Gruyter Mouton.
112. *Luhmann N.* Social Systems. Stanford UP, Stanford, California, 1984.
113. *Lyotard J. François.* The Postmodern Condition: A Report on Knowledge / transl. Geoff Bennington and Brian Massumi, Minneapolis, MN // Minnesota University Press, 1984.
114. *Malkhasian S.* Introduction // Movses Khorenatsi. Patmutium Hajots (History of Armenia/Armenians. Yer.: “Hajastan” publishing, 1997 (In Arm.).
115. *McNeill, William H.* Mythistory, or Truth, Myth, History, and Historians. The American Historical Review (1986),91(1): 1:
<https://doi.org/10.2307/1867232>
116. *Meillassoux Q.* History and event in Alain Badiou Being and Event // “Parrhesia”, № 12, 2011. PP. 1–11.
117. Moses Khorenatsi's History of the Armenians (translation and commentary on the Literary Sources by R. W. Thomson) // “Harvard University Press”, 1978.
118. *Movses Khorenatsi.* Patmutium Hajots (History of Armenia/Armenians. Yer.: “Hajastan” publishing, 1997 (in Arm.).
119. *Orwell G.* ‘As I Please’ [“Tribune”, 4 February 1944], The Complete Works of George Orwell, London: Secker & Warburg, vol. 16: I Have Tried to Tell the Truth. 1943–1944. (Copyright 1968)
120. *Orwell G.* The Penguin Complete Novels of George Orwell, Harmonds etc.: Penguin. Roberts, Geoffrey, 2001.
121. *Partner N.* The Fundamental Things Apply: Aristotle’s Narrative Theory and the Classical Origins of Postmodern History / Nancy Partner, Sarah Foot (eds.) // The SAGE Handbook of Historical Theory, 2013. PP. 495–508, Armenian Epic // “Journal of Indo-European Studies Monograph”, No 42. Washington DC; 1977.

122. *Petrosyan A.* The Indo-European and Ancient Near Eastern Sources of the Armenian Epic // “Journal of Indo-European Studies Monograph”, No. 42. Washington DC, 1977.
123. *Pinker S.* The Stuff of Thought: Language as a Window into Human Nature, 2008.
124. *Ponzio A.* The Semiotics of Karl Marx: A Historical and Theoretical Excursus through the Sciences of Signs in Europe // Chinese Semiotic Studies, vol. 10, No. 2, 2014, PP. 195–214: <https://doi.org/10.1515/css-2014-0019>
125. *Prior A.* Past, Present and Future // Oxford University Press, 1967.
126. *Russell J.* The Epic of Sasun: Armenian Apocalypse // The Armenian Apocalyptic Tradition: A Comparative Perspective / ed. Kevork B. Bardakjian and Sergio La Porta, Leiden: Brill, 2014. PP. 41–77.
127. *Renan E.* What is a nation? // In: Bhabha (ed.) 1990. PP. 8–21.
128. *Rigney A.* Fiction as a Mediator in National Remembrance / In: Berger et al (eds). 2008. PP. 79–96.
129. *Rigney A.* History as Text: Narrative Theory and History // Nancy Partner, Sarah Foot (eds). The SAGE Handbook of Historical Theory, 2013. PP. 183–200.
130. Roshwald, Aviel. The Endurance of Nationalism: Ancient Roots and Modern Dilemmas. By New York: “Cambridge University Press”, 2006. PP. XII+349.
131. *Russell B.* The Philosophy of Logical Atomism Routledge, London and New York, 2010.
132. *Russell B.* Introduction / In: Wittgenstein, LPT. PP. 7–19.
133. *Russell J.* The shrine beneath the waves / In: RES, Antropology and Aesthetics, Cambridge, MA. V. 51, Spring 2007. PP. 136–156.
134. *Rüsen J.* History, Narration, Interpretation, Orientation // Berghahn Books, 2005. DOI: 10.1515/9781782389675
135. *Schlegel A.* Athenaeum. Eine Zeitschrift / Hgb. von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. “Darmstadt”, 1977.
136. *Searle John R.* The Construction of Social Reality. New York: “Free Press”, 1995.
137. *Smith A.* Nations and Nationalism in a Global Era. Oxford/Cambridge: Polity, 1995

138. *Smith A.* Chosen peoples [sacred sources of national identity] // “Oxford University Press”, 2003.
139. *Schlegel A.* Athenaeum. Eine Zeitschrift / Hgb. von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. Darmstadt. 1977.
140. *Searle J.* The Logical Status of Fictional Discourse, *New Literary History* 1975, No. 6. PP. 319–332.
141. *Sethi R.* Myths of the Nation: National Identity and Literary Representation (Oxford, 1999; online edn, Oxford Academic, 3 Oct. 2011, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198183396.001.0001>, accessed 17 Dec. 2022).
142. *Stepanyan A.* Khorenica: Studies in Moses Khorenatsi, Yer.: State University. UP, 2021, 386p.
143. *Thomson R.* Introduction. // Moses Khorenatsi's History of the Armenians (translation and commentary on the Literary Sources by R.W. Thomson) / “Harvard University Press”, 1978. PP.1–62.
144. *Wang Q.* Between Myth and History: the Construction of a National Past in Modern East Asia. In: Berger, S. (eds) *Writing the Nation*. Palgrave Macmillan, London. 2007: https://doi.org/10.1057/9780230223059_6
145. *Wade N.* Date of Armenia’s Birth, Given in 5th Century, Gains Credence // “New York Times”, march 10, 2015.
146. *White H.* *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Baltimore, MD, 1973.
147. *White H.* *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation*, Baltimore: The John Hopkins University Press. 1987.
148. *Wittgenstein L.* *Tractatus Logico-Philosophicus*, Kegan Paul, London, 1922.
149. *Xupeng Zh.* National Narratives in Chinese Global History Writing / in: Berger et al (eds.) 2021. PP. 259–280.
150. *Zolyan S.* “What Can Be Described Can Happen too...” // “On the Imaginary Conversation Between the Poet and the Tsar”. *Rivista Italiana Di Filosofia Del Linguaggio*, Sept. 2022, doi:10.4396/SFL2021A12.

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И НАЦИОНАЛЬНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ**
Часть II.

Сурен Тигранович Золян

**Семантические и дискурсивные механизмы
формирования исторической памяти
(на примере «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци
и армянского эпоса)**

Главный редактор РНИ – *М.Э. Авакян*
Корректор – *А.С. Есаян*
Компьютерная верстка – *А.Г. Антонян*

Адрес Редакции научных изданий
Российско-Армянского (Славянского) университета:
0051, г. Ереван, ул. Овсепя Эмина, 123
тел/факс: (+374 12) 77-57-75 (внутр.: 392)
e-mail: *maria.avakian@rau.am*

Заказ № 19
Подписано к печати 12.05.2024г.
Формат 60x70¹ /₁₆. Бумага офсетная № 1.
Объем 8 усл. п.л. Тираж 150 экз.